
Егор Ралович
Наследник угольного короля

Егор Ралович

Наследник угольного короля

«Автор»
2026

Ралович Е.

Наследник угольного короля / Е. Ралович — «Автор», 2026

Ефим Найдёнов вырос в приюте и чинит чужие книги в переплётной мастерской. Однажды ему приходит письмо: он единственный наследник Захара Черноярова, угольного короля шахтёрского Копотня. Вместе с шахтой ему достаётся договор, о котором в городе стараются не говорить.Под шахтой спит Дед Подспуд, и уголь – это его тело и его память. Почти сто лет назад основатель рода заключил с ним Лад, и теперь у наследника есть семь дней, чтобы продлить его. Если к седьмой полуночи Лад не будет продлён, Подспуд проснётся и заберёт всё, что у него взяли, вместе с городом. Беда в том, что условий Лада никто не помнит: книгу сожгли, песню запретили, а старики молчат.Управляющий шахтой готов продлить договор на собственных кровавых условиях, вдова хочет продать шахту и уехать, а выборщица Варя Кремнёва ненавидит всё, что носит фамилию Чернояров. За семь дней Ефиму предстоит узнать, кто он такой, и вспомнить песню, которую ему с детства пела во сне незнакомая женщина.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Письмо 5
Глава 2. Копотень 11
Глава 3. Завещание 16
Глава 4. Похороны 21
Глава 5. Порог 26
Глава 6. Бабка Ульяна 31
Глава 7. Сожжённая книга 36
Глава 8. Инженер 41
Глава 9. Первое условие 46
Глава 10. Чёрная смена 51
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Егор Ралович
Наследник угольного короля

Глава 1. Письмо

В переплётной мастерской Фрола Игнатьевича Сычёва пахло клеем, кожей и старой бумагой, и Ефим Найдёнов любил этот запах больше любого другого на свете. Так пахло место, где вещи не выбрасывали. Сюда приносили книги, которые никому уже не были нужны, кроме одного-единственного человека, и этот человек готов был платить, чтобы книгу спасли.

В тот вечер на верстаке перед Ефимом лежал молитвенник купчихи Обуховой. Ему было лет сто, корешок рассыпался в труху, а последние двадцать листов кто-то, видно, пытался высушить у печки после потопа и пересушил до хруста. Ефим разделял склеившиеся страницы тонким костяным ножом, по одной, задерживая дыхание. Если дышать на такую бумагу, она коробится.

За окном шёл мокрый снег. Зареченск в ноябре превращался в серое месиво из грязи, дыма и лошадиного навоза, и фонарщик на углу Почтовой зажигал фонари уже в четыре часа. Фрол Игнатьевич ушёл домой, наказав запереть ставни, а Ефим остался. Ему некуда было торопиться. В его каморке под лестницей было холодно, а здесь топилась печь и горела хорошая лампа.

Колокольчик над дверью звякнул, когда он снял восемнадцатый лист.

– Закрыто, – сказал Ефим, не поднимая головы. – Приходите утром, хозяин с восьми.

– Мне нужен не хозяин.

Голос был сухой, старческий, с той особой вежливостью, которой учатся в присутственных местах. Ефим отложил нож и обернулся.

У порога стоял невысокий господин в чёрном пальто с бобровым воротником. Снег таял на его котелке и стекал на плечи. Лицо у него было длинное и бледное, с тонким носом и глазами, которые смотрели так, будто всё время что-то пересчитывали. В руке он держал саквояж, перетянутый ремнём.

– Ефим Найдёнов? – спросил господин. – Девятнадцати лет, воспитанник Зареченского сиротского приюта при Покровской церкви, поступил туда младенцем в феврале… – он заглянул в бумажку, – в феврале, двадцатого числа?

– Я, – сказал Ефим и почувствовал, как у него холодеют руки. Так с ним разговаривали только полицейские и приютский смотритель. – Я ничего не сделал.

– Разумеется, – сказал господин. – Позвольте представиться. Зонтов, Аркадий Львович, нотариус. Я прибыл из Копотни. Вы, полагаю, не слышали о таком городе.

– Слышал, – сказал Ефим. – Оттуда возят уголь.

– Оттуда возят уголь, – согласился Зонтов, словно Ефим ответил на экзамене. – Можно мне сесть? Я двое суток в дороге, и в мои годы это чувствуется.

Ефим подвинул ему табурет. Нотариус сел, поставил саквояж на колени и долго расстёгивал ремень. Пальцы у него были в чернилах и слегка дрожали.

– Я буду краток, – сказал он, – потому что времени у нас меньше, чем хотелось бы. Девять дней назад в Копотни скончался Захар Прокопьевич… простите, Захар Игнатьевич Черноярov, владелец угольной шахты «Матушка», домов, лавок, складов и прочего, что перечислено в описи на одиннадцати листах. Его называли Угольным королём. Слышали?

– Нет.

– Это неважно. Захар Игнатьевич оставил завещание, составленное при мне и мною заверенное. Согласно этому завещанию его единственным наследником шахты и всего, что к ней относится, назначается его сын. – Зонтов поднял глаза. – Вы.

Ефим засмеялся. Он не хотел, смех вышел сам, короткий и глупый.

– Вы ошиблись человеком, – сказал он. – Я из приюта. У меня нет отца. Меня нашли на крыльце, в корзине из-под рыбы. Фамилию дал смотритель, Найдёнов, потому что найдён. Даже имя по святцам, кто в тот день был.

– Двадцатого февраля, – сказал Зонтов. – В корзине из-под мороженой нельмы, обёрнутым в серую шерстяную шаль с вышивкой. На шали красными нитками было вышито семь колосьев. Так?

Ефим перестал смеяться.

Шаль он видел один раз в жизни, когда ему исполнилось четырнадцать и смотритель отдал ему узелок с «вещами при поступлении». Шаль, медный крестик на гайтане и всё. Крестик он носил. Шаль лежала в его сундучке под лестницей, завёрнутая в газету. Он никогда никому её не показывал.

– Откуда вы знаете?

– Мне сказал Захар Игнатьевич, – ответил нотариус. – Он знал, куда отнесли ребёнка. Он девятнадцать лет знал, где вы, и платил приюту каждый год по сто рублей через третьи руки. Вам, должно быть, говорили, что приют содержит попечительский совет.

– Говорили.

– Попечительский совет – это и был Захар Игнатьевич.

В печке треснуло полено. Ефим сел на край верстака, потому что ноги вдруг стали ватными, и задел локтем молитвенник. Восемнадцатый лист, который он только что отделил, соскользнул на пол. Ефим даже не нагнулся.

– Если он знал, – сказал он медленно, – почему он не пришёл?

Зонтов помолчал. Он смотрел не на Ефима, а куда-то на полку с книгами за его спиной.

– Это вопрос, на который я не могу ответить, – сказал он наконец. – Может быть, он ответил на него сам. Он оставил вам письмо. Но письмо, согласно его воле, должно быть вскрыто не здесь.

– А где?

– В Копотни. – Нотариус расстегнул наконец саквояж и достал оттуда толстую папку, перевязанную бечёвкой, и отдельно – конверт из плотной желтоватой бумаги, запечатанный чёрным сургучом. На сургуче был оттиск: кирка и корона над ней. – Вот завещание, копия. Вот опись. А вот письмо. Видите надпись?

На конверте крупным, тяжёлым почерком, с сильным нажимом, было написано: «Сыну. Вскрыть у Порога».

– Что такое Порог?

– Узнаете, когда приедете. – Зонтов убрал письмо обратно. – Я обязан передать его вам лично в руки на месте. Таково условие.

– А если я не поеду?

– Тогда, – сказал нотариус очень спокойно, – наследство перейдёт к вдове, Агнии Фёдоровне, а она продаст шахту столичному товариществу в течение месяца. Это её право. Но я должен вас предупредить, Ефим… простите, по батюшке вас теперь следовало бы звать Захарович. Ефим Захарович. Я должен вас предупредить, что в завещании есть оговорка. Наследник обязан прибыть в Копотень до похорон и в течение семи дней после похорон исполнить то, что ему надлежит исполнить. Похороны назначены на послезавтра. Отпевать будут в полдень.

– Что исполнить?

– Это в письме.

– Вы его не читали?

– Не читал, – сказал Зонтов. – И не хотел бы.

Он сказал это так, что Ефим понял: старик не лжёт, он действительно боится этого конверта. Боится так, как боятся не бумаги, а того, что за ней стоит.

– Аркадий Львович, – сказал Ефим, – вы меня простите. Я весь день работал. У меня в голове всё перепуталось. Пришёл человек и сказал, что у меня есть отец, что он умер, что он оставил мне шахту и что я должен что-то сделать за семь дней, а что – не скажут. Как бы вы поступили на моём месте?

Нотариус снял котелок, стряхнул с него воду и положил на колени.

– Я бы поехал, – сказал он. – Не из жадности. Из любопытства. Человеку раз в жизни говорят, откуда он взялся. Если не поехать сейчас, второго раза не будет. И ещё. – Он помедлил. – Захар Игнатьевич был человек тяжёлый. Многие в Копотни его ненавидели и имели на то причины. Но он думал о вас. Последние три месяца, когда он уже знал, что болен, он думал только о вас и о шахте. Он трижды переписывал завещание. В последний раз – за два дня до смерти. Он уже не мог держать перо, я писал под диктовку, а он подписал, и рука у него так дрожала, что подпись вышла кривая. Он сказал мне: «Аркадий, если мальчик не приедет, значит, так тому и быть. Но ты сделай всё, чтобы он приехал».

– Почему?

– Не знаю, – сказал Зонтов. – Честное слово, не знаю. Поезд завтра в семь утра. До Чадской станции, потом сорок вёрст на лошадях. Я взял вам билет.

Он положил на верстак рядом с молитвенником картонный билет второго класса.

Ефим смотрел на билет. Билет был зелёный, с золотой каймой и номером, отпечатанным синей краской. Он никогда не ездил вторым классом. Он вообще ездил на поезде один раз, в двенадцать лет, когда приютских возили на богомолье в Тихвинский монастырь, и тогда их везли в товарном вагоне, на соломе.

– Я не могу просто уйти, – сказал он. – У меня работа. Фрол Игнатьевич…

– Я поговорю с Фролом Игнатьевичем утром, – сказал нотариус. – Если позволите. Где я могу его найти?

– Он живёт над лавкой Бутова, на Сенной. Но он вам не обрадуется в семь утра.

– Мне редко радуются, – сказал Зонтов, вставая. – Профессия такая. Вы где ночуете?

– Здесь. Под лестницей.

Нотариус оглядел мастерскую так, будто видел её впервые: верстак, пресс, обрезной станок, клеевую печку, полки с инструментом и стопки книг, перевязанных бечёвкой, с бирками заказчиков.

– Хорошее ремесло, – сказал он неожиданно. – Вы любите книги?

– Я люблю, когда вещи не выбрасывают, – сказал Ефим. – Когда старое можно починить.

Зонтов посмотрел на него долгим взглядом.

– Это вам пригодится, – сказал он. – Больше, чем вы думаете. В семь утра у вокзала, Ефим Захарович. Я буду ждать у второго вагона.

Он надел котелок, взял саквояж и вышел. Колокольчик звякнул. В открытую дверь ворвался мокрый ветер, и пламя в лампе метнулось. Ефим долго сидел, глядя на закрытую дверь. Потом нагнулся и поднял с пола восемнадцатый лист. Лист был цел. Он положил его между двумя промокательными листами и придавил стеклом.

Работать он больше не мог.

Он запер ставни, погасил лампу и пошёл к себе под лестницу. Каморка была два шага на три, с топчаном, сундучком и гвоздём для одежды. Под самым потолком было узкое оконце на улицу, и по ночам в нём мелькали ноги прохожих. Ефим зажёг огарок, открыл сундучок и достал свёрток в газете.

Шаль была серая, домашней вязки, грубая и всё ещё тёплая на ощупь, как будто её только что сняли с чьих-то плеч. По одному краю шла вышивка красными нитками – семь колосьев,

наклонённых в одну сторону, будто под ветром. Ефим когда-то пересчитывал стежки. В каждом колосе было по одиннадцать зёрен, кроме последнего, седьмого. В седьмом было девять, и два стежка не дошиты, нитка обрывалась.

Он всегда думал, что женщина, которая вышивала, не успела. Что её кто-то позвал, или она заболела, или просто устала и решила, что так сойдёт. Он придумывал ей лица, одно за другим, пока не понял, что придумывать бесполезно.

Он лёг на топчан, накрылся шалью поверх одеяла и закрыл глаза.

И пришёл сон.

Этот сон приходил к нему, сколько он себя помнил. Всегда одинаковый. Темнота – не чёрная, а густая, тёплая, как в погребе, где хранят яблоки. И где-то в этой темноте женщина поёт. Он никогда её не видел, только слышал. Голос низкий, чуть хрипловатый, и песня медленная, без слов – или со словами, которых он не мог разобрать. Мелодия шла вниз, вниз, будто спускалась по ступенькам, а потом поднималась, медленно, трудно, и обрывалась на высокой ноте, не дойдя до конца. Каждый раз в одном и том же месте. Каждый раз он просыпался с ощущением, что ещё немного – и он услышит последнюю ноту.

В приюте он однажды попробовал напеть эту мелодию другому мальчишке, Сеньке Рябому, и тот сказал, что это похоже на то, как гудит печная труба зимой. Больше Ефим никому не пел.

В эту ночь песня была громче. Ему показалось даже, что он различает слово – одно-единственное, где-то в середине. Что-то вроде «помни» или «полни». Он проснулся, когда за оконцем ещё было темно, и долго лежал, слушая стук сердца и пытаясь удержать в голове это слово. Оно ускользало.

В половине шестого он встал, умылся ледяной водой из ведра, надел лучшую рубаху и единственный сюртук, перешитый из хозяйского. Сложил в холщовый мешок смену белья, бритву, костяной нож, моток льняной нитки, кисточку и баночку клея. Подумал и положил ещё лупу в медной оправе – подарок Фрола Игнатьевича на прошлую Пасху. Шаль он свернул и сунул на самое дно.

Фрол Игнатьевич пришёл в мастерскую в шесть, раньше обычного, сердитый и заспанный, в шубе нараспашку.

– Ну, – сказал он с порога. – Был у меня твой стряпчий. Поднял в пять утра, я думал, пожар. Сидит у меня на кухне, пьёт мой чай и рассказывает, что ты, видишь ли, королевич.

– Я не знаю, кто я, Фрол Игнатьевич.

– Вот и я не знаю. – Сычёв сел на табурет, тот самый, на котором вчера сидел нотариус, и уставился на Ефима из-под мохнатых бровей. – Пять лет ты у меня. Лучший подмастерье за всю мою жизнь, хоть я тебе этого никогда не говорил и не скажу. Руки у тебя золотые. Глаз – как у ястреба. Терпение – как у монаха. Я думал, ещё года три – и я тебе мастерскую передам, своих-то детей бог не дал. А тут приходит какой-то хорёк в котелке…

– Я вернусь, – сказал Ефим.

– Не вернёшься, – сказал Сычёв. – Из таких мест не возвращаются. Ты знаешь, что такое Копотень?

– Шахтёрский город.

– Это я тоже знаю. Брат моей покойной жены там служил, на складе. Двенадцать лет. Приезжал раз в год, пил неделю и уезжал обратно, и всё молчал. Один раз только, спьяну, сказал мне: «Фрол, там под землёй кто-то есть. Не крысы. Кто-то, кто слушает». Я тогда посмеялся. А на следующий год он не приехал. Написали, что обвал.

Он помолчал, глядя на свои руки, широкие, в старых ожогах от клеевой печки.

– Я тебе вот что скажу, – произнёс он наконец. – Ехать или нет – решай сам. Ты взрослый. Но если поедешь – смотри в оба. Люди, которые оставляют сыну наследство, а сами девятнадцать лет к нему носа не кажут, просто так ничего не оставляют. Понял?

– Понял.

– И ещё. – Сычёв полез за пазуху и достал кошелёк, старый, кожаный, затёртый. Отсчитал пять синих бумажек и положил на верстак. – Это твоё жалованье за ноябрь и декабрь. Вперёд. Не спорь. Если там тебя обманут – хоть на дорогу обратно будет.

– Фрол Игнатьевич…

– Иди, – сказал Сычёв и отвернулся к окну. – Опоздаешь. И молитвенник Обуховой я сам доделаю. Ты там восемнадцатый лист положил под стекло, я видел. Правильно положил.

Ефим подошёл к нему, постоял и неловко, неумело обнял его за плечи. Старик крякнул, похлопал его по спине тяжёлой ладонью и сказал:

– Ну, будет. Будет, говорю. Иди.

Вокзал в Зареченске был новый, кирпичный, с часами на башенке. Под навесом гудела толпа: бабы с узлами, солдаты, торговцы, монахиня с кружкой, мальчишки с газетами. Паровоз пыхтел, выпуская пар, и пахло горячим железом и углём. Ефим впервые подумал, что этот уголь, может быть, из Копотни. Из шахты, которая теперь его.

Мысль была такой нелепой, что он остановился посреди перрона, и его толкнули корзиной.

Зонтов ждал у второго вагона, как и обещал. В утреннем свете он выглядел ещё бледнее и старше, чем вчера.

– Вы пришли, – сказал он, и в его голосе было что-то похожее на облегчение. – Я, признаться, не был уверен.

– Я тоже, – сказал Ефим.

Купе было на четверых, но других пассажиров не оказалось. Нотариус сел у окна, поставил саквояж рядом с собой и положил на него руку, как кладут руку на голову собаки. Поезд дёрнулся, лязгнул, и Зареченск поплыл назад: склады, заборы, колокольня Покровской церкви, где-то за которой стоял приют. Ефим смотрел на колокольню, пока она не скрылась за пакгаузами.

– Расскажите мне о нём, – попросил он.

Зонтов не сразу ответил. Он смотрел в окно, на мокрые поля и серые перелески.

– Что вы хотите знать?

– Каким он был.

– Большим, – сказал нотариус. – Это первое, что о нём все говорили. Большой человек. Высокий, тяжёлый, с голосом, от которого звенели стёкла. Сам спускался в шахту до шестидесяти лет, хотя мог бы не спускаться никогда. Знал по именам всех десятников и половину забойщиков. Построил в Копотни больницу, школу и баню. Дал денег на новую церковь. Платил больше, чем на любой другой шахте в губернии.

– Почему же его ненавидели?

– Потому что люди гибли, – просто сказал Зонтов. – На «Матушке» гибнет больше людей, чем где-либо. Обвалы. Газ. Затопления. Каждый год. Захар Игнатьевич платил вдовам щедро, хоронил за свой счёт. Но люди всё равно гибли. И многие считали, что он мог бы этого не допустить.

– А мог бы?

Нотариус медленно повернул голову и посмотрел на него.

– Ефим Захарович, – сказал он, – я сорок лет служу нотариусом. Я научился не отвечать на вопросы, ответа на которые не знаю наверняка. Вы скоро сами увидите Копотень. Я бы хотел, чтобы вы составили суждение без моей помощи.

Он снова отвернулся к окну. Ефим понял, что больше ничего не услышит, и тоже стал смотреть, как за стеклом тянется бесконечная серая равнина под низким небом. Он думал о шали с семью колосьями и о том, что женщина, вышивавшая её, могла ехать этой же дорогой девятнадцать лет назад. В обратную сторону. С ребёнком на руках.

К полудню равнина кончилась, и начались холмы, а за холмами, на самом краю неба, выросли горы – тёмные, приземистые, с белыми от снега макушками. Над одной из них, далеко на севере, висело неподвижное бурое облако, похожее на грязную овчину.

– Это она? – спросил Ефим.

– Это копоть, – сказал Зонтов. – Над Копотнью всегда так. Местные говорят, что небо над городом последний раз было синим при Прокопе Черноярове. Ваш прадед основал город. Девяносто восемь лет назад.

– Девяносто восемь, – повторил Ефим.

– Да. – Нотариус почему-то вздрогнул и плотнее запахнул пальто. – Вам холодно? Мне холодно. В последние дни мне всё время холодно.

Поезд шёл к горам, и бурое облако росло, заслоняя полнеба. Ефим смотрел на него, и ему казалось, что в стуке колёс он слышит ту самую мелодию из сна – вниз, вниз, по ступенькам, и вверх, медленно, трудно, и обрыв на высокой ноте, не дошедшей до конца.

Глава 2. Копотень

Чадская станция оказалась дощатым домиком с водокачкой, двумя фонарями и палисадником, в котором торчали из снега почерневшие стебли мальв. Снег здесь был другой. В Зареченске он таял, не долетев до земли, а здесь лежал плотно, по колено, и был не белым, а серым, как зола, с чёрными крапинами, будто его посыпали перцем.

– Не ешьте его, – сказал Зонтов, заметив, как Ефим разглядывает сугроб. – Здешние дети в первый год пробуют все. Потом неделю кашляют.

Поезд постоял три минуты и ушёл дальше на север, к рудникам, и на перроне остались только они двое, станционный смотритель в тулупе и несколько баб с пустыми корзинами, которые возвращались с зареченского базара. Бабы сразу уставились на Ефима, перешёптываясь.

– Сани должны были прислать, – сказал нотариус, озираясь. – Я телеграфировал из Зареченска.

– Прислали, барин, – отозвался смотритель. – С утра стоят. Только кучер в чайную ушёл, греется.

Пока смотритель ходил за кучером, Ефим прошёлся вдоль перрона. Ему хотелось размять ноги после десяти часов в вагоне и хотелось хоть минуту побыть одному. За домиком станции, у водокачки, была коновязь, и там стояли сани – широкие, крытые, с медвежьей полостью и гербом на дверце: та же кирка с короной, что и на сургуче. Рядом с ними стояла телега попроще, гружёная мешками, а у телеги – девушка в коротком полушубке, перепоясанном верёвкой, и в мужской шапке с опущенными ушами. Она перекидывала мешки с телеги на землю, к стене пакгауза, и делала это так ловко, что мешки ложились один к одному, ровным рядом.

Один мешок порвался, и из него посыпалась мука. Девушка выругалась – коротко, зло и очень грамотно – и присела, сгребая муку ладонями обратно.

Ефим подошёл и тоже присел.

– Не надо, – сказала она, не поднимая головы. – Сама управлюсь.

– Вдвоём быстрее.

– Вдвоём – не быстрее, вдвоём – рассыплем вдвое больше. – Она подняла глаза, и он увидел худое скуластое лицо с прямыми тёмными бровями и глазами странного цвета, серыми с зелёным, как вода в пруду. На щеке у неё была чёрная полоска угольной пыли, и ещё одна – на лбу. – Ты кто такой? Не здешний.

– Не здешний, – согласился Ефим. – Я только что приехал.

– Вижу, что приехал. Сюртучок-то городской. – Она завязала порванный мешок узлом и поднялась. – К кому?

Он не успел ответить. Из-за угла выкатился кучер – краснолицый мужик в синем кафтане, – а за ним Зонтов, и нотариус ещё издали крикнул:

– Ефим Захарович! Сани готовы!

Девушка медленно перевела взгляд с Ефима на сани с гербом, потом обратно. Лицо её изменилось, стало твёрдым, как камень.

– Захарович, – повторила она. – Так ты, значит, Черноярова выродок. Тот, что из города.

– Я не знаю, кто я, – сказал Ефим.

– Зато я знаю. – Она отряхнула руки от муки и плюнула ему под ноги. Не в него – под ноги, в серый снег. – Вот тебе за отца моего. Проваливай туда, откуда приехал. Здесь и без тебя хватает Чернояровых.

– Варвара! – окликнул кучер грозно. – Ты что творишь, дура! Это ж молодой хозяин!

– Хозяин, – сказала девушка, – сидит в гробу на Угольном дворе и гниёт. А это щенок.

Она отвернулась, подхватила с телеги последний мешок и унесла его в пакгауз. Дверь за ней захлопнулась.

– Простите её, барин, – забормотал кучер, сдёргивая шапку. – Кремнёва это, Варька. Выборщица с сортировки. У неё отец в шахте сгинул три года назад, вот она и бесится. Её все знают. Злая, как оса.

– Ничего, – сказал Ефим.

Он смотрел на плевок в снегу. На сером снегу он был почти незаметен.

В санях пахло медвежьей шкурой и дёгтем. Кучер щёлкнул кнутом, тройка взяла с места, и станция с водокачкой осталась позади. Дорога шла через лес, потом через широкую долину, где по обеим сторонам тянулись заснеженные поля, а потом начался подъём в горы. Чем выше они поднимались, тем темнее становился снег и гуще воздух. Ефим чувствовал во рту привкус, будто лизнул печную заслонку.

– Кремнёв, – сказал он. – Её отца звали Кремнёв?

– Степан Кремнёв, – ответил Зонтов, не открывая глаз. Он сидел, закутавшись в полость до подбородка, и казалось, дремал. – Забойщик. Хороший был забойщик. Погиб при обвале на нижнем горизонте. Тело не нашли.

– Почему?

– Там, где он погиб, искать нельзя.

– Почему нельзя?

Нотариус открыл один глаз.

– Это вам объяснят люди, которые понимают в горном деле лучше меня, – сказал он и снова закрыл глаз.

Ехали долго. Стемнело. Кучер зажёг фонари на облучке, и в их жёлтом свете снег казался почти белым, но за кругом света сразу начиналась чернота – плотная, бархатная, без звёзд. Звёзд не было совсем. Небо над головой было закрыто тем самым бурым облаком, которое Ефим видел из поезда, и сквозь него не пробивалось ни лучика.

А потом, на повороте дороги, внизу открылась Копотень.

Город лежал в котловине между горами, как в чаше, и весь светился изнутри – но не так, как светятся города. Не окнами. Окон почти не было видно. Светилось что-то другое: множество красных точек, рассыпанных по склонам, и над ними – розоватое зарево, будто где-то в глубине тлел огромный костёр. Пахло серой и гарью.

– Отвалы, – сказал Зонтов, заметив его взгляд. – Терриконы. Пустая порода, которую поднимают из шахты. В ней остаётся уголь, и он тлеет. Годами. Некоторые отвалы горят ещё со времён Игната Прокопьевича. Их не потушить. Город живёт на углях, Ефим Захарович. В прямом смысле.

Сани спустились в котловину, и город обступил их. Улицы были узкие, кривые, мощённые чёрным шлаком. Дома – деревянные, приземистые, с крошечными окнами, затянутыми бычьим пузырём или мутным стеклом. Над каждой крышей курился дымок, и дым этот не поднимался вверх, а стелился по крышам, стекал в переулки, заполнял улицы, как вода заполняет канаву. У каждого дома стояла бочка с водой, и вода в бочках была чёрной.

Людей на улицах было немного. Те, кто попадался, останавливались и смотрели на сани с гербом. Ефим видел их лица в свете фонарей – серые, худые, с запавшими глазами и чёрной каймой вокруг век, будто подведёнными углем. Никто не кланялся. Никто не снимал шапки. Просто стояли и смотрели, как сани проезжают мимо, а потом поворачивались и шли дальше.

– Они знают, кто я? – тихо спросил Ефим.

– Весь город знает, – ответил нотариус. – Здесь новости разносятся быстрее телеграфа. Варвара Кремнёва уже, наверное, рассказала полгороду, что встретила вас на станции.

– И что они думают?

– Что вы приехали на похороны своего отца. И что после похорон всё станет либо лучше, либо хуже. Скорее хуже. Здесь всегда становится хуже.

Сани миновали площадь с деревянной церковью, у которой стоял крест без перекладины, будто обгоревший, потом какие-то склады, потом длинный забор, за которым поднималось нечто огромное и тёмное – Ефим не сразу понял, что это. Деревянная башня, высокая, в четыре этажа, с огромным колесом на вершине. Колесо медленно вращалось, и из-под башни доносился ровный глухой гул, будто где-то под землёй дышало что-то большое.

– Копёр, – сказал Зонтов. – Надшахтная башня. Под ней ствол шахты «Матушка». Шестьсот саженей в глубину, если считать до нижнего горизонта. Колесо поднимает клеть.

– Они работают ночью?

– Шахта работает всегда. Три смены. Она никогда не останавливается. С тех пор, как её открыли, она не останавливалась ни разу, даже на Пасху. Захар Игнатьевич говорил, что если «Матушка» встанет хоть на один день, она больше не проснётся.

Гул под башней стал громче, когда они проезжали мимо, и Ефим почувствовал, как дрожит земля под санями. Мелко, едва заметно, будто от далёкого грома.

Угольный дом стоял на холме над городом, в стороне от дыма. Это был большой каменный дом в два этажа, с колоннами и мезонином, с широким крыльцом и чугунной оградой. Все окна в нём горели. Двор был расчищен от снега, и вдоль дорожки к крыльцу горели плошки с маслом. У ворот стояли двое мужиков в тулупах с ружьями.

– Сторожа? – спросил Ефим.

– Охрана, – поправил Зонтов. – После смерти Захара Игнатьевича в доме неспокойно.

Сани остановились у крыльца. Дверь открылась прежде, чем они вышли, и на крыльцо вышел человек – высокий, широкоплечий, лет под сорок, в чёрном сюртуке, с гладко зачёсанными назад тёмными волосами и коротко стриженной бородой. Лицо у него было резкое, словно высеченное из камня, и очень спокойное.

– Аркадий Львович, – сказал он, спускаясь по ступеням. – С приездом. Мы вас ждали к шести.

– Дорога, Корней Ильич, – вздохнул нотариус, выбираясь из саней. – Вы же знаете, какая тут дорога.

– Знаю. – Человек повернулся к Ефиму и окинул его взглядом – одним, быстрым, цепким, сверху вниз и обратно. Так оценщик в ломбарде смотрит на принесённую вещь. – А это, стало быть, он.

– Ефим Захарович Найдёнов, – представил Зонтов. – Ефим Захарович, это Корней Ильич Ласточкин, управляющий шахтой. Правая рука вашего покойного батюшки.

– Здравствуйте, – сказал Ефим.

– Здравствуйте, – сказал Ласточкин. Он не протянул руки. – Похож. Глаза не его, а вот подбородок – его. Упрямый подбородок. Проходите. Агния Фёдоровна ждёт вас в гостиной. Хотя, должен предупредить, не сказать чтобы с нетерпением.

Внутри было тепло и светло, слишком светло после тёмных улиц. В прихожей пахло воском и ладаном. На стенах висели портреты в тяжёлых рамах. Ефим остановился перед одним из них, самым большим, прямо напротив входа. С портрета смотрел крупный старик с густой седой бородой, в мундире горного ведомства с орденом на шее. У старика были тяжёлые веки, широкий нос и упрямый, выдвинутый вперёд подбородок. Глаза смотрели прямо, тяжело и устало, будто художник поймал миг, когда человек думал о чём-то очень трудном.

– Он? – спросил Ефим.

– Он, – сказал Ласточкин. – Писано семь лет назад, к юбилею шахты. Захар Игнатьевич не любил позировать. Сидел три сеанса и все три ругался. Художник потом говорил, что никогда не писал человека, который так не хотел, чтобы его запомнили.

Ефим смотрел на портрет. Он ждал, что что-то почувствует. Узнавание. Обиду. Злость. Хоть что-нибудь. Но перед ним был просто незнакомый старик в мундире, с подбородком, который, может быть, действительно был похож на его собственный. И всё.

– Пойдёмте, – сказал Ласточкин. – Не заставляйте вдову ждать.

Гостиная была большая, жарко натопленная, с изразцовой печью в углу и тяжёлыми бархатными шторами. На столах стояли свечи в серебряных подсвечниках, на стенах висели зеркала, затянутые чёрным крепом. У камина в кресле сидела женщина в глубоком трауре.

Она была немолода, но очень красива той холодной, неподвижной красотой, которая бывает у мраморных статуй на кладбищах. Тёмные волосы, тронутые сединой на висках, были гладко убраны под чёрную кружевную наколку. Лицо бледное, тонкое, с прямым носом и узкими губами. Руки, сложенные на коленях, были в чёрных перчатках.

Рядом с ней, у камина, стоял ещё один человек – полный, румяный, лысоватый господин в превосходном столичном сюртуке, с золотой цепочкой на жилете и с бокалом в руке. А у окна, в стороне от всех, сидел на подоконнике молодой человек лет двадцати восьми, худой, светловолосый, в очках, в потёртой куртке горного инженера, и что-то записывал в тетрадь карандашом. Он даже не поднял головы, когда они вошли.

– Агния Фёдоровна, – сказал Зонтов с поклоном. – Позвольте представить вам Ефима Захаровича.

Женщина подняла глаза. Глаза у неё были тёмные, почти чёрные, и смотрели они на Ефима без всякого выражения. Как смотрят на мебель.

– Найдёнов, – сказала она. Голос у неё был низкий и ровный. – Мне сказали, вас так зовут.

– Да, сударыня.

– Подходящая фамилия. – Она чуть заметно улыбнулась уголком рта. – Вас нашли. А теперь, кажется, нашли снова. Садитесь, Ефим. Вы, должно быть, устали с дороги.

Ефим сел на край стула, который ему указали. Ласточкин остался стоять у двери, сложив руки за спиной.

– Это господин Мальцев, Илларион Петрович, – продолжала вдова, кивнув на румяного господина. – Поверенный Северо-Горного товарищества. Он приехал из столицы по делу, которое теперь, полагаю, касается и вас. А это… – она скользнула взглядом к окну, – господин Ремезов, инженер того же товарищества. Павел Андреевич, поздоровайтесь.

– Здравствуйте, – сказал инженер, не поднимая головы от тетради. – Простите. Цифры не сходятся. Двадцать минут не сходятся, и я не понимаю почему.

– Павел Андреевич у нас человек науки, – сказал Мальцев с добродушным смешком. – Ему цифры дороже людей. Очень рад знакомству, молодой человек. Очень рад. Примите мои соболезнования по поводу кончины вашего батюшки. Великий был человек. Великий. Я, знаете ли, имел честь вести с ним дела последние два года.

– Безуспешно, – сказала вдова.

– Пока безуспешно, – поправил Мальцев, всё так же улыбаясь. – Но обстоятельства, как известно, меняются.

Он отпил из бокала и посмотрел на Ефима поверх края – цепко, внимательно, совсем не добродушно. Ефим вдруг понял, что все в этой комнате смотрят на него одинаково. Вдова, управляющий, поверенный. Все трое. Как на вещь, которую нужно оценить, прежде чем решить, что с ней делать.

Только инженер у окна не смотрел. Он грыз карандаш и бормотал что-то себе под нос.

– Завещание будет оглашено завтра утром, – сказал Зонтов, – в присутствии всех заинтересованных лиц. Похороны – в полдень. А сейчас, если позволите, Ефиму Захаровичу нужно отдохнуть.

– Разумеется, – сказала вдова. – Корней Ильич, проводите его в синюю комнату. Ту, что была комнатой Захара в молодости. Думаю, это будет… уместно.

Она снова улыбнулась уголком рта, и в этой улыбке Ефиму почудилось что-то недоброе.

Синяя комната оказалась на втором этаже, в конце длинного коридора. Она была небольшой, с узкой кроватью, письменным столом и книжным шкафом, и в ней пахло пылью и старым деревом. Обои когда-то были синими, но выцвели до серого. На столе стояла лампа и лежала стопка чистой бумаги. Окно выходило на город.

– Ужин принесут, – сказал Ласточкин, остановившись в дверях. – Если что-то понадобится – звоните. Шнурок у кровати.

– Корней Ильич, – сказал Ефим. – Можно вопрос?

Управляющий молча ждал.

– Что я должен сделать за семь дней?

Ласточкин помолчал. Свет лампы падал на его лицо снизу, и от этого оно казалось ещё резче.

– Аркадий Львович вам не сказал?

– Он сказал, что это в письме.

– Тогда ждите письма. – Управляющий взялся за ручку двери. – А пока – совет. Не ходите ночью по дому. И не подходите к окну, если услышите, что кто-то зовёт вас с улицы. Здесь такое бывает.

– Кто зовёт?

– Никто, – сказал Ласточкин. – Здесь никто никого не зовёт. Спокойной ночи, Ефим Захарович.

Дверь закрылась. Ефим постоял посреди комнаты, слушая, как удаляются шаги по коридору. Ужин принесла старая горничная в чёрном платке, маленькая, сморщенная, с быстрыми мышиными глазками. Она поставила поднос на стол – щи, кусок пирога с капустой, кружку горячего сбитня – и не ушла, а остановилась у двери, теребя край передника.

– Вы, барин, кушайте, – сказала она. – Щи с утра томились. Захар Игнатьевич такие любил.

– Спасибо. Как вас зовут?

– Матрёной кличут. Я в этом доме сорок лет. – Она помялась. – Я вас, барин, вот что хотела… Вы на мать похожи. Не на него. Глаза у вас её. Серые, с крапинкой.

Ефим медленно опустил ложку.

– Вы знали мою мать?

– Видала, – сказала старуха и оглянулась на дверь, будто боялась, что их подслушивают. – Давно. Она к нам в дом песни петь приходила, на Святки. Голосистая была. Вся Копотень её слушать сбегалась. А потом… – Она осеклась и замахала руками. – Нет, нет, не моё это дело, барин, простите старую дуру. Кушайте. Кушайте, пока горячее.

– Матрёна, подождите. Как её звали?

Но старуха уже выскользнула за дверь, и он услышал, как она торопливо шаркает по коридору, бормоча что-то себе под нос. Он поел, не чувствуя вкуса. Сбитень был сладкий, с имбирём, и обжигал горло.

Потом он подошёл к окну.

Внизу лежала Копотень, вся в красных точках тлеющих отвалов. Над копром медленно вращалось колесо. А из-под земли, из самой глубины, шёл гул – ровный, низкий, бесконечный. Ефим прислонился лбом к холодному стеклу и слушал его, пока не понял, что гул не ровный. Он шёл волнами. Вниз, вниз, будто спускался по ступенькам. Потом медленно поднимался вверх. И обрывался.

Каждый раз в одном и том же месте.

Глава 3. Завещание

Ночью его никто не звал.

Ефим спал плохо, урывками, и каждый раз, просыпаясь, слышал гул из-под земли. К утру он почти перестал его замечать, как перестают замечать тиканье часов. Но когда в семь часов в дверь постучала Матрёна с кувшином горячей воды, он вдруг понял, что гул стих. Стало тихо – так тихо, что звенело в ушах.

– Что случилось? – спросил он. – Шахта встала?

– Пересменка, барин, – сказала горничная. – Клеть стоит, людей меняют. Через полчаса опять загудит. – Она поставила кувшин на умывальник и, не глядя на него, добавила: – Вчерашнее вы забудьте. Что я там болтала. Старая я, глупая, язык без костей.

– Я не забуду, – сказал Ефим. – Но никому не скажу.

Старуха вздохнула, перекрестилась и ушла.

Чтение завещания было назначено на девять, в кабинете покойного. Кабинет занимал половину второго этажа в другом крыле – огромная комната с тремя окнами на шахтный двор, с дубовыми панелями на стенах и потолком, расписанным под звёздное небо. Звёзды, впрочем, давно потемнели от копоти, и небо стало бурым, как настоящее небо над Копотнью. Посреди кабинета стоял письменный стол величиной с хорошую телегу, обтянутый зелёным сукном. На столе не было ничего, кроме чернильного прибора из чёрного камня и лампы с зелёным абажуром.

Вдоль одной стены тянулись шкафы с книгами и папками. Вдоль другой – застеклённые витрины, в которых лежали куски угля. Ефим подошёл посмотреть. Уголь был разный: тусклый и блестящий, слоистый и плотный, с отпечатками листьев и стеблей. В одной витрине лежал кусок, на котором ясно виднелся след папоротника – каждое пёрышко, каждая жилка. В другой – кусок, похожий на окаменевшую древесную кору.

– Коллекция Прокопа Черноярова, – сказал за его спиной инженер Ремезов. Ефим не слышал, как он подошёл. – Ваш прадед собирал. Я вчера полдня здесь провёл, пока все ругались внизу. Знаете, что самое интересное? Вот этот папоротник. – Он постучал пальцем по стеклу. – Таких папоротников на земле нет. Не было никогда, насколько известно науке. Я сравнивал с атласами. Ни одного совпадения.

– Может, просто не нашли ещё?

– Может быть. – Ремезов поправил очки. Вблизи он оказался ещё моложе, чем показалось вчера, – светлые волосы, падающие на лоб, острый нос, обветренные губы. На пальцах – чернила и угольная пыль. – Только вот что странно. Этот кусок с нижнего горизонта. С глубины в пятьсот сорок саженей. А на такой глубине, по всем расчётам, пласты должны быть совсем другого возраста. Древнее. Там не должно быть листьев вообще. Там должна быть сплошная спрессованная масса. А тут – папоротник. Будто его туда положили. Позавчера.

Он сказал это без улыбки, задумчиво, и Ефим не понял, шутит он или нет.

– Павел Андреевич, – окликнул из дверей Мальцев. – Вы же обещали не утомлять наследника вашими камнями.

– Это не камни, – сказал Ремезов, – это уголь. – Но послушно отошёл от витрины и уселся в углу на стул с тетрадью на коленях.

Собрались все: вдова в том же глубоком трауре, Мальцев, Ласточкин, Ремезов и ещё двое, которых Ефим не знал, – пожилой священник с седой бородой, в рясе, и сухопарый человек в мундире почтового ведомства. Священника представили как отца Савватия, настоятеля Копотенской церкви. Почтового чиновника – как свидетеля.

Зонтов сел за письменный стол, но не в кресло покойного, а на приставной стул сбоку, будто не решался занять место хозяина. Он положил перед собой папку, развязал бечёвку и долго, тщательно протирал очки платком.

– Приступим, – сказал он наконец. – Я, Зонтов Аркадий Львович, нотариус Копотенского горного округа, оглашаю последнюю волю Захара Игнатьевича Черноярова, купца первой гильдии, владельца шахты «Матушка» и прочего имущества, составленную им девятого ноября сего года в здравом уме и твёрдой памяти, что засвидетельствовано мною и двумя свидетелями…

Он читал долго. Сначала шли мелкие распоряжения: столько-то рублей церкви на помин души, столько-то – больнице, столько-то – Матрёне Лукиничне Шиловой «за сорок лет верной службы», столько-то – каждому десятнику шахты, по списку, приложенному отдельно. Потом – вдове. Вдове оставлялся Угольный дом со всей обстановкой, капитал в Зареченском банке и годовое содержание в двенадцать тысяч рублей пожизненно. Агния Фёдоровна выслушала это, не шевельнувшись.

– Далее, – сказал Зонтов и помедлил. Он отпил воды из стакана. – Далее. «Шахту «Матушка» со всеми её выработками, горизонтами, штольнями, отвалами, надшахтными постройками, механизмами, складами, конюшнями, казармами и землёю под ними и над ними, а также Лад, коим шахта держится, завещаю моему сыну, Ефиму, рождённому от Марьи…» – Нотариус запнулся. – Здесь имя зачёркнуто. Рукой завещателя. Зачёркнуто и поставлена подпись, подтверждающая исправление. Далее. «…моему сыну Ефиму, известному под фамилией Найдёнов, воспитаннику Зареченского сиротского приюта, с тем чтобы он прибыл в Копотень до моего погребения и в продолжение семи дней по погребении исполнил то, что надлежит исполнить наследнику по Ладу. Если же он не прибудет или не исполнит, шахта переходит к супруге моей Агнии Фёдоровне, и да поможет ей бог».

Он закрыл папку.

В кабинете стояла тишина. Слышно было, как за окном, на шахтном дворе, лязгает железо и кричит кто-то хриплым голосом: «Майна! Майна, говорю!» Гул под землёй вернулся, и стёкла в витринах с углём тихо зазвенели.

– Это всё? – спросила вдова.

– Это всё, Агния Фёдоровна.

– «И да поможет ей бог», – повторила вдова. Она медленно сняла одну перчатку, потом вторую, и положила их на подлокотник. Руки у неё оказались белые, тонкие, с длинными пальцами и одним-единственным кольцом – обручальным. – Как это на него похоже. Тридцать два года брака. Тридцать два года я была хозяйкой этого дома. А он оставляет мне «да поможет бог».

– Агния Фёдоровна, – начал Зонтов.

– Помолчите, Аркадий Львович. Вы своё уже сказали. – Она повернулась к Ефиму. Тёмные глаза смотрели на него всё так же безразлично. – Вы понимаете, что это значит, молодой человек?

– Нет, сударыня.

– Это значит, что мой покойный муж сошёл с ума. Последние полгода он разговаривал сам с собой. Ходил по ночам в шахту, один, без лампы. Сжёг половину бумаг в этом самом кабинете. Однажды я застала его в столовой: он стоял перед зеркалом и считал вслух. До ста двенадцати. Потом начинал сначала. – Она чуть заметно скривила губы. – Завещание, составленное за два дня до смерти человеком в таком состоянии, не может иметь силы. Я подам в суд. Илларион Петрович уже связался с лучшими адвокатами губернии.

– Это ваше право, – сказал Зонтов тихо.

– Разумеется, моё право. – Вдова поднялась. – И я им воспользуюсь. Ничего личного, Ефим. Вы, наверное, неплохой юноша. Но вы ничего не понимаете в шахтах, ничего не пони-

маете в деньгах и ничего не понимаете в Копотни. Вы не продержитесь здесь и месяца. А я не намерена смотреть, как дело, которое строили три поколения, разваливается в руках приютского мальчишки.

– Дело, которое вы собираетесь продать, – сказал Ефим.

Он сам не знал, откуда взялись эти слова. Они вырвались раньше, чем он успел подумать.

Вдова остановилась. На миг – совсем на миг – в её глазах что-то мелькнуло. Удивление. Или интерес.

– Да, – сказала она. – Которое я собираюсь продать. Потому что я, в отличие от моего мужа, умею считать. Павел Андреевич, скажите ему.

Инженер оторвался от тетради.

– Что сказать?

– Что вы мне говорили вчера. Про шахту.

– А. – Ремезов снял очки и протёр их краем куртки. – Шахта нерентабельна. Без нижнего горизонта – совершенно. Верхние пласты выработаны на восемьдесят процентов, средние – на шестьдесят. Весь доход последних тридцати лет давал нижний горизонт, глубинный пласт. Его тут называют Сердцевиной. Пласт исключительный: толщина до двух саженей, уголь лучший в губернии, жирный, почти без золы. Но работать там… – Он замялся. – Работать там опасно. Аварийность на нижнем горизонте втрое выше, чем на любой другой шахте, которую я видел. И она растёт. За последний год там было девять обвалов.

– Девять, – повторила вдова. – Слышите? Товарищество предлагает за шахту восемьсот тысяч. Это очень щедро. Это в три раза больше, чем она будет стоить через год, когда там погибнет ещё полсотни человек и горный надзор её закроет. Я предлагаю вам, Ефим, вот что. Подпишите отказ от наследства. Я выплачу вам из этих денег сто тысяч. Сто тысяч рублей. Вы сможете купить себе переплётную мастерскую в столице. Десять мастерских. И жить спокойно до конца дней. Подумайте до вечера.

Она надела перчатки и вышла, не оглянувшись. Мальцев с поклоном последовал за ней.

Ефим сидел, глядя на зелёное сукно стола. Сто тысяч рублей. Он получал у Сычёва двенадцать рублей в месяц. Он даже не мог себе представить, как выглядят сто тысяч. Сундук? Мешок?

– Отец Савватий, – услышал он голос Ласточкина. – Свидетели. Благодарю вас. Аркадий Львович, вы, полагаю, хотите поговорить с наследником наедине.

– Нет, – сказал Зонтов. – Нет, Корней Ильич. Я думаю, вам лучше остаться.

Священник и почтовый чиновник ушли. Ремезов, о котором все забыли, остался сидеть в углу. Ласточкин прикрыл за ними дверь и встал у окна, заложив руки за спину.

– Ефим Захарович, – сказал нотариус, – вы слышали слово, которое есть в завещании. Лад.

– Слышал. Что это?

Зонтов посмотрел на Ласточкина. Управляющий не обернулся.

– Корней Ильич, – сказал нотариус. – Расскажите ему. Вы знаете больше, чем я.

– Я знаю то, что знают все в Копотни, – ровно произнёс Ласточкин, глядя в окно. – Что Прокоп Чернояров, основав шахту, заключил договор. С кем – говорят по-разному. Горняки зовут его Дедом. Дедом Подспудом. Тем, кто под спудом лежит. Попы зовут иначе, но попы здесь мало что решают. Договор этот – Лад. Пока Лад держится, шахта даёт уголь, а город живёт. Каждый раз, когда держатель Лада умирает, наследник должен в течение семи дней спуститься к Престолу и продлить Лад. Прокоп заключил Лад. Игнат продлил его после смерти Прокопа. Захар продлил после смерти Игната. Теперь ваша очередь.

– А если я не продлю?

Ласточкин наконец обернулся.

– Тогда на седьмую ночь Дед проснётся, – сказал он. – И заберёт своё.

– Что – своё?

– Всё, что у него взяли за девяносто восемь лет. Уголь. Землю. Людей. – Управляющий пожал плечами. – Так говорят.

– А вы в это верите?

– Я пятнадцать лет управляю этой шахтой. – Ласточкин подошёл к столу и положил на сукно ладонь, широкую, жёсткую, с обломанными ногтями и белым шрамом через все костяшки. – Я видел вещи, которым нет объяснения. Павел Андреевич подтвердит. Он здесь всего месяц, а уже ходит с лицом, будто увидел привидение.

– Я ничего не видел, – сказал из угла Ремезов. – Я видел замеры. Замеры – это не привидения.

– Конечно, – сказал Ласточкин. – Замеры. – Он снова повернулся к Ефиму. – Верю я или нет – неважно. Важно, что верят они. – Он кивнул на окно, за которым на шахтном дворе копошились тёмные фигурки. – Три тысячи человек. Если они узнают, что наследник отказался продлевать Лад, они не спустятся в шахту. Ни один. Шахта встанет. А если шахта встанет, Копотень умрёт с голоду до весны. Здесь ничего не растёт. Здесь ничего нет, кроме угля.

– Что нужно сделать, чтобы продлить?

Управляющий помолчал.

– Я не знаю, – сказал он. – Об этом знал только Захар Игнатьевич. Он спускался к Престолу один, сорок лет назад, после смерти отца, и никому не рассказывал, что там делал.

– Но он же оставил письмо, – сказал Ефим, поворачиваясь к нотариусу. – Аркадий Львович, письмо. Там, наверное, всё написано?

Зонтов полез в саквояж и достал конверт с чёрной печатью. Подержал его на ладони, как держат что-то тяжёлое.

– «Вскрыть у Порога», – сказал он. – Порог – это место на первом горизонте шахты. Там стоит камень, у которого горняки называют себя, прежде чем спуститься ниже. Захар Игнатьевич просил, чтобы вы прочли это письмо там. Не здесь. Не сейчас. Сначала похороны. Завтра утром вы спуститесь к Порогу, вскроете письмо и узнаете, что делать. Таково было его желание.

– Почему не сегодня?

– Потому что Лад отсчитывает дни с похорон, – сказал Ласточкин. – Первый день – завтра. До похорон наследник не может спуститься. Так заведено.

– Кем заведено?

– Не знаю, – сказал управляющий. – Так всегда было.

Ефим посмотрел на конверт в руке нотариуса. Желтоватая бумага. Чёрный сургуч. Кирка и корона. «Сыну».

– Корней Ильич, – сказал он. – А вдова? Она знает про Лад?

Ласточкин усмехнулся – впервые за всё время. Усмешка у него вышла кривой, одной половиной рта.

– Агния Фёдоровна дочь зареченского банкира. Она считает, что Лад – это мужицкие суеверия, которые Захар Игнатьевич поддерживал, чтобы горняки слушались. Она двадцать раз пыталась уговорить его продать шахту. Двадцать раз он отказал. Если вы подпишете отказ, она продаст «Матушку» товариществу через неделю, и господин Мальцев увезёт купчую в столицу, а Копотень… – Он развёл руками. – Копотень товариществу не нужна. Им нужен уголь. Людей наберут других, приезжих, на договоры. А местные пусть идут куда хотят.

– А что будет с Ладом?

– Товарищество, – сказал из угла Ремезов, не поднимая головы, – в Лад не верит. Товарищество верит в паровые насосы, электрическое освещение и поквартальные отчёты. Я тоже в Лад не верю. Но я хотел бы знать, почему пласт на нижнем горизонте за последние девять дней сдвинулся на четыре вершка. Пласты не сдвигаются за девять дней. Пласты сдвигаются за девять тысяч лет.

Все трое посмотрели на него.

– Девять дней, – повторил Ефим. – С того дня, как умер Захар Игнатьевич?

– С того самого, – сказал инженер. – Я проверял. Каждое утро по часам. Сдвиг начался в ночь его смерти. И ускоряется. – Он захлопнул тетрадь. – Я не знаю, что это значит. Но если вы, Ефим Захарович, завтра спуститесь к своему Порогу, возьмите меня с собой. Я хочу кое-что измерить.

Ласточкин посмотрел на инженера долгим, тяжёлым взглядом. Потом – на Ефима.

– Отдыхайте, – сказал он. – Похороны в полдень. Вам нужно будет идти за гробом первым. Как сыну.

Он вышел. Зонтов посидел ещё минуту, глядя на конверт, потом бережно убрал его в саквояж, застегнул ремень и тоже поднялся.

– Аркадий Львович, – сказал Ефим. – В завещании. Имя моей матери. Почему он его зачеркнул?

Нотариус остановился в дверях.

– Он сказал, – медленно произнёс старик, – что это имя здесь произносить нельзя. Что если его прочтут вслух в этом доме, кто-нибудь его услышит. Я не знаю, кого он имел в виду. Он был очень болен.

– Но вы его помните? Имя?

Зонтов долго молчал.

– Марья, – сказал он наконец. – Он успел сказать «Марья», а потом велел зачеркнуть. Фамилию он мне не назвал. Простите, Ефим Захарович. Больше я ничего не знаю.

Он ушёл. Ефим остался в кабинете вдвоём с инженером.

– Марья, – сказал он вслух.

Ничего не случилось. Лампа не погасла. Стёкла в витринах не зазвенели. Только гул под землёй, кажется, на миг стал чуть тише. А может быть, ему показалось.

– Вы правда не верите? – спросил он Ремезова. – В Деда?

Инженер подошёл к витрине с папоротником и долго смотрел на отпечаток, прижав палец к стеклу.

– Я верю в то, что могу измерить, – сказал он. – Но я уже месяц не могу измерить то, что здесь происходит. И это меня пугает больше, чем любой Дед. – Он повернулся. – Знаете, что сказала мне одна старуха на сортировке, когда я спросил её про обвалы? Она сказала: «Он спит, барин. Спит и видит лес. А мы ему этот лес по кусочку отгрызаем. Вот он и ворочается». Я тогда записал это в тетрадь как курьёз. А вчера перечитал и не смог заснуть.

Он ушёл, а Ефим ещё долго стоял перед витриной, глядя на чёрный отпечаток папоротника, которого никогда не было на земле. Ему показалось, что если долго смотреть, листья начинают шевелиться, будто их трогает ветер. Ветер, который дул здесь, в этих горах, задолго до того, как появились горы.

Глава 4. Похороны

Гроб стоял в большой зале на первом этаже, на столе, покрытом чёрным сукном. Он был огромный, дубовый, обитый изнутри малиновым бархатом, и всё равно казался тесным для человека, который в нём лежал.

Ефим подошёл к нему в одиннадцать, когда в зале никого не было, кроме дьячка, читавшего Псалтирь у изголовья. Дьячок, увидев его, сбился, потом заторопился и стал читать быстрее, глотая слова.

Захар Чернояров в гробу был не похож на свой портрет. Портрет был писан с живого, а здесь лежало то, что от живого осталось. Седая борода расчёсана и уложена на грудь. Руки, огромные, жилистые, с распухшими суставами, сложены поверх савана, и в них – свеча и иконка. Лицо восковое, жёлтое, и подбородок, который на портрете казался упрямым, здесь торчал вверх беспомощно, как у ребёнка. На лбу лежал бумажный венчик с молитвой.

Ефим смотрел на него и пытался понять, что чувствует. Опять ничего. Даже не жалость. Только странное, тупое недоумение, будто ему показали чужую вещь и сказали: это твоё. А ты не помнишь, чтобы она у тебя когда-нибудь была.

– Ты знал, где я, – сказал он одними губами, так, чтобы не услышал дьячок. – Девятнадцать лет знал. Платил за меня. А прийти не мог. Почему?

Мертвец не ответил. Только пламя свечи у него в руках чуть качнулось, хотя в зале не было сквозняка.

– Не трогай его.

Ефим обернулся. В дверях стояла Агния Фёдоровна. Она была в той же траурной одежде, но теперь поверх платья на ней была тяжёлая шуба, и в руках – молитвенник в чёрном переплёте.

– Я не трогал, – сказал Ефим.

– Я знаю. – Вдова подошла и встала по другую сторону гроба. Долго смотрела на мужа. Лицо у неё оставалось неподвижным, только у губ залегли две тонкие складки. – Я вышла за него, когда мне было восемнадцать. Он был старше меня на двадцать лет. Отец сказал: это лучшая партия в губернии. Он был прав. Это была лучшая партия. Тридцать два года я была замужем за самой лучшей партией в губернии.

Она помолчала.

– Он ни разу не сказал мне, что любит. Ни разу. Он говорил: «Ты хорошая хозяйка, Агния». «Ты умная женщина, Агния». «Ты не задаёшь лишних вопросов, Агния, и за это я тебе благодарен». За тридцать два года я задала ему один лишний вопрос. Знаешь какой?

– Нет.

– Я спросила, что он делает по ночам в шахте. – Она подняла на Ефима свои тёмные, ничего не выражающие глаза. – Он ударил меня. Единственный раз за всю жизнь. Потом стоял на коленях и плакал, как ребёнок, и просил прощения. А на следующую ночь снова ушёл в шахту. – Вдова поправила венчик на лбу покойника кончиками пальцев в чёрной перчатке. – Ты похож на неё, наверное. На ту женщину. Он однажды сказал во сне: «Марья, прости». Я тогда не знала, кто такая Марья. Теперь знаю.

– Кто она?

– Певица какая-то. Деревенская. – Вдова пожала плечами. – Я её не видела. Это было до меня, или почти до меня, я не уточняла. Мне не интересно. – Она открыла молитвенник, будто разговор закончен. Потом, не поднимая глаз, сказала: – Ты подумал о моём предложении?

– Ещё нет.

– Подумай. Сто тысяч – это щедро. После похорон я буду ждать ответа.

Отпевание шло в деревянной церкви на площади, той самой, с обгоревшим крестом. Церковь была тесная, низкая, с почерневшими от копоти иконами, и народу в неё набилось столько, что нечем было дышать. Но это был не тот народ, которого Ефим ждал. Купцы, лавочники, приказчики, чиновники горного ведомства с жёнами, десятники в чистых кафтанах. Конторские. Ни одного горняка.

– Где шахтёры? – шёпотом спросил он у Зонтова, стоявшего рядом.

– Снаружи, – так же шёпотом ответил нотариус. – Они не войдут.

– Почему?

– Увидите.

Отец Савватий служил медленно, тяжело, глухим басом, и казалось, каждое слово даётся ему с трудом. Кадило в его руке раскачивалось, и голубоватый дым ладана смешивался с копотью, висевшей под потолком. Ефим стоял у гроба, как ему велели, со свечой в руке, первым – как сын. Справа от него стояла вдова, слева – Ласточкин. Он чувствовал на себе сотни взглядов. Чувствовал спиной, затылком, шеей. Шёпот за спиной – «приютский», «выблядок», «Марьин сын» – и тут же испуганное «тише ты». Кто-то сказал «Марьин сын», и Ефим едва не обернулся. Но Ласточкин чуть заметно коснулся его локтя, и он остался стоять.

Когда отпевание кончилось и гроб понесли к выходу – восемь десятников на плечах, – Ефим понял, что имел в виду нотариус.

Шахтёры стояли на площади. Все. Казалось, вся Копотень вышла и стала здесь, на чёрном утоптанном снегу, – сотни и сотни людей, мужчины в рабочих куртках и ватниках, с лицами, на которых въевшаяся угольная пыль не смывалась никаким мылом, женщины в серых платках, старики, дети. Они стояли молча, без шапок, плотной стеной, от церковной паперти до самого шахтного забора. И у каждого в руке была лампа.

Шахтёрские лампы. Медные, с толстым стеклом, с проволочной сеткой вокруг огня. Сотни ламп. Тысячи. Они горели ровным жёлтым светом в сером полуденном сумраке, и этот свет был ярче, чем свечи в церкви.

Гроб вынесли на паперть, и толпа не шелохнулась. Никто не поклонился, никто не перекрестился. Только смотрели. Сотни пар глаз в чёрной кайме угольной пыли.

– Что они делают? – прошептал Ефим.

– Провожают, – ответил Ласточкин. – Не его. Лампу.

Из толпы вышел старик. Очень старый – Ефим никогда не видел таких старых людей, которые бы при этом держались прямо. Высокий, костлявый, с белой бородой до пояса и с лицом, изрезанным морщинами так глубоко, что в них, казалось, можно было вложить палец. Одна рука у него была без двух пальцев. Он нёс перед собой лампу – не медную, как у других, а старую, железную, почерневшую, с треснувшим стеклом, перевязанным проволокой. В лампе горел крошечный, едва заметный огонёк.

– Тихон Пяткин, – сказал Зонтов. – Старейший забойщик. Работал ещё при Игнате Прокопьевиче. Ему семьдесят три года.

Старик подошёл к гробу, который десятники опустили на паперть, и остановился. Долго смотрел на лицо покойника. Потом поднял лампу и сказал громко, так, что его услышала вся площадь:

– Захар Игнатьич. Лампу твою несу. Сорок лет она тебе светила. Отдаю её туда, откуда огонь взят.

И пошёл через площадь к шахтному забору. Толпа расступилась перед ним, образуя коридор. Десятники снова подняли гроб на плечи и двинулись за стариком. Ефима толкнули в спину – иди, – и он пошёл следом, со свечой в руке, которая уже догорела почти до пальцев.

Они шли через площадь, и шахтёры молча смыкались за ними. Тысячи ламп. Тысячи шагов по снегу. Ни одного звука, кроме скрипа снега и тяжёлого дыхания десятников под гробом.

За шахтным забором, на дворе, у подножия копра, было пусто. Колесо наверху не вращалось. Клеть стояла внизу, у самого ствола, – железная клетка в рост человека, на толстом канате. А сам ствол… Ефим впервые увидел ствол шахты и остановился.

Это была дыра. Просто дыра в земле, круглая, обшитая потемневшими брёвнами, шириной сажени в три. Из неё тянуло теплом – влажным, тяжёлым, будто дыхание огромного зверя. И запахом. Ефим не сразу понял, что это за запах. Потом понял. Так пахнет прелая листва в осеннем лесу. Так пахнет земля после дождя. Здесь, посреди чёрного шахтного двора, среди железа и копоти, из-под земли тянуло лесом.

Тихон Пяткин подошёл к краю ствола и вытянул руку с лампой над чернотой.

– Дедушка, – сказал он. Голос у него вдруг стал другим – тихим, ласковым, будто старик говорил с ребёнком. – Дедушка, держатель твой помер. Захар, Игнатов сын, Прокопов внук. Лампу его тебе отдаю. Ты прими. Ты помни.

Он разжал пальцы.

Лампа полетела вниз. Ефим видел, как крохотный огонёк кувыркается в темноте, становится всё меньше и меньше, превращается в искру, в точку, исчезает. Звука удара не было. Он ждал, затаив дыхание, но удара так и не было. Будто лампа всё ещё падала. Будто ствол не имел дна.

– Семь дней пошли, – сказал старик, поворачиваясь к толпе. – Первый – завтра. Кто держатель новый?

Тишина.

Ефим почувствовал, как все взгляды разом поворачиваются к нему. Тысячи взглядов. Как тяжесть. Как будто на плечи ему положили гроб, который несли десятники.

– Я, – сказал он. Голос сорвался. Он откашлялся и повторил громче: – Я.

Тихон Пяткин подошёл к нему вплотную. От старика пахло табаком, потом и той же лесной прелью, что шла из ствола. Глаза у него были светлые, выцветшие до белизны, и смотрели на Ефима долго, пристально, будто искали что-то.

– Как звать? – спросил старик.

– Ефим.

– Чей?

Ефим открыл рот, чтобы сказать «Найдёнов», и не сказал. Сказать «Чернояров» он тоже не смог. Слово застряло в горле.

– Не знаю, – сказал он честно.

Старик кивнул, будто именно такого ответа и ждал.

– Вот и узнаешь, – сказал он. – За семь дней. А не узнаешь – так и помрёшь, не узнав. И мы все с тобой.

Он повернулся и пошёл обратно через двор, и толпа снова расступилась перед ним. А за ним, один за другим, люди стали гасить лампы. Не задувать – прикручивать фитили, медленно, будто прощаясь. Огоньки гасли по одному, по два, по десятку, и площадь погружалась в серый полуденный сумрак.

Гроб похоронили на кладбище за церковью, в семейном склепе Черноярoвых, рядом с Игнатом и Прокопом. На кладбище пошли уже только свои: вдова, Ласточкин, Зонтов, Мальцев, отец Савватий, десятники и конторские. Шахтёры разошлись. Ефим бросил в склеп горсть мёрзлой чёрной земли и долго смотрел на надписи на трёх плитах: «Прокоп Чернояров». «Игнат Прокопьевич Чернояров». А под третьей, свежей, ещё без надписи, лежал его отец.

На плите Прокопа, ниже имени и дат, был выбит знак, которого не было на двух других: семь колосьев, наклонённых в одну сторону, будто под ветром.

Ефим присел и провёл по ним пальцами. Камень был старый, выщербленный, но колосья были видны ясно. Он стал считать зёрна. Одиннадцать. Одиннадцать. Одиннадцать… В седьмом колосе было девять.

– Что вы там нашли? – спросил над ним Мальцев.

– Ничего, – сказал Ефим, поднимаясь. – Мох.

Когда все потянулись к выходу, он задержался. За склепом Черноярovых кладбище спускалось по склону вниз, к оврагу, и там кресты стояли гуще, теснее, деревянные, некрашеные, почерневшие. Многие покосились. На некоторых не было ни табличек, ни надписей – просто две перекладины, вбитые в мёрзлую землю.

У одного такого креста, в самом низу, стояла Варя Кремнёва. Рядом с ней – двое мальчишек, лет восьми и десяти, в одинаковых больших шапках, явно с чужой головы. Младший держал её за руку. Варя смотрела на крест и не плакала.

Ефим не собирался подходить. Ноги сами понесли его вниз по скользкой тропинке. Мальчишки заметили его первыми и спрятались за сестру.

– Опять ты, – сказала Варя, не оборачиваясь.

– Я не нарочно.

– Здесь никто ничего не нарочно. – Она кивнула на крест. Он был совсем новый, светлый, и на перекладине углём было написано: «Степан Кремнёв». Больше ничего. Ни дат, ни молитвы. – Смотри. Любуйся. Под ним ничего нет. Пустая яма. Мы закопали в неё его рубаху и картуз, потому что больше закапывать было нечего. Отец Савватий сначала не хотел отпевать, говорил, без тела нельзя. Потом отпел. За деньги, которые твой папаша прислал. Пятьдесят рублей. Столько стоит забойщик на «Матушке».

– Где он погиб?

– Внизу. В Сердцевине. – Варя наконец повернулась к нему. – Знаешь, что мне сказали в конторе? «Тело извлечь невозможно по причине опасности обрушения». А я потом узнала, что в ту ночь в Сердцевине не было никакого обрушения. Был спуск. Захар твой спускался. Один. А утром отца не стало.

– Варька, – испуганно сказал старший мальчишка. – Не надо, Варька. Услышат.

– Пусть слышат. – Она взяла братьев за руки. – Иди к своим, Захарович. Тебя ждут. Наливку пить.

Она ушла вверх по склону, не оглядываясь. Ефим остался у креста. Ветер шевелил на перекладине обрывок чёрной ленты. Он посмотрел вокруг, на другие кресты, без надписей, без имён, и вдруг понял, что их здесь много. Десятки. Целый склон.

Поминки были в Угольном доме, долгие и тягостные. Ефим не помнил, что ел и что ему говорили. Помнил только, как Мальцев, разомлевший от наливки, рассказывал кому-то о новых паровых подъёмниках, а вдова сидела во главе стола, прямая и бледная, и не притронулась ни к чему. И как Ласточкин весь вечер не сводил с него глаз.

Под конец к нему подсел Ремезов, с тарелкой, на которой лежал нетронутый блин.

– Вы видели, как упала лампа? – спросил инженер вполголоса.

– Видел.

– Звука не было. – Ремезов покрутил блин вилкой. – Ствол глубиной шестьсот саженей. Даже если бы лампа летела до самого зумпфа, до дна, звук удара мы бы услышали через одиннадцать–двенадцать секунд. Я считал. Я досчитал до шестидесяти. Ничего. Потом я спросил у стволового, что внизу. Он сказал: «Сетка, барин, улавливающая, на первом горизонте». Значит, лампа должна была упасть на сетку на глубине восьмидесяти саженей. Через четыре секунды. Звона не было. Сетку сегодня проверили. Лампы на ней нет.

– А где она?

– Я не знаю, – сказал Ремезов. – Я записал это в тетрадь. У меня в тетради скоро не останется места для того, чего я не знаю.

После поминок он поднялся к себе, в синюю комнату, и лёг, не раздеваясь. В голове гудело, как гудела шахта. «Марьин сын». Кто-то в церкви сказал «Марьин сын». Значит, кто-то здесь знал. Знал его мать. Знал, кто она.

Он задремал и проснулся от тишины.

Было темно. Лампа на столе, которую он оставил гореть, погасла. Ефим лежал, не понимая, что разбудило его, и вдруг понял: гул. Гула не было. Шахта молчала. Не так, как утром, при пересменке, когда тишина длилась полчаса и была рабочей, деловой. Это была другая тишина. Мёртвая.

Он встал и подошёл к окну.

Копотень лежала внизу в полной темноте. Ни огонька. Ни одного. Не горели фонари на площади. Не светились окна. Даже красные точки тлеющих отвалов на склонах – и те погасли, все разом, будто кто-то накрыл их огромной ладонью. Над копром не вращалось колесо.

Город был чёрным, как дно ствола, куда упала лампа.

Ефим стоял, вцепившись в подоконник, и смотрел. Где-то внизу, в темноте, завыла собака. Потом другая. Потом закричала женщина – далеко, на окраине, тонко и страшно. Потом крик оборвался.

А потом, из самой глубины, из-под земли, пришёл звук.

Это был не гул. Это был вздох. Долгий, медленный, тяжёлый вздох, от которого задрожали стёкла и мелко заплясала вода в кувшине на умывальнике. Так вздыхает спящий, когда ему снится что-то тревожное. Так вздыхает человек, переворачиваясь на другой бок.

Вздох длился, длился, а когда кончился, по всему городу один за другим стали загораться огни. Сначала отвалы на склонах – красные точки, одна, другая, десяток. Потом фонари на площади. Потом окна. Колесо на копре дрогнуло и медленно, со скрипом, пошло по кругу. И гул вернулся – ровный, низкий, привычный.

Ефим отошёл от окна, нашёл на ощупь спички и зажёг лампу. Руки у него тряслись. Он посмотрел на часы на столе. Часы стояли. Стрелки показывали без одной минуты полночь.

Он потряс их, и они пошли, громко тикая.

Без одной минуты полночь. Первый день начинался.

За дверью в коридоре кто-то прошёл – тяжёлые, медленные шаги. Остановились напротив его комнаты. Постояли. Ефим замер с горящей спичкой в пальцах, пока она не обожгла ему кожу. Шаги двинулись дальше и затихли.

Он сел на кровать, завернулся в материнскую шаль, которую достал со дна мешка, и стал считать колосья. Семь. Одиннадцать зёрен, одиннадцать, одиннадцать, и девять в последнем. Он считал их снова и снова, как вдова говорила о муже, который считал до ста двенадцати перед зеркалом, и думал о том, что у каждого здесь, кажется, есть свой счёт, который никак не сходится.

Он не спал до утра.

Глава 5. Порог

Утром первого дня за ним пришёл Тихон Пяткин.

Старик стоял у крыльца Угольного дома в рабочей куртке, подпоясанной ремнём, в кожаной шапке с отворотами и с двумя медными лампами в руке. Сторожа у ворот пропустили его без единого слова и даже, как показалось Ефиму, отступили на шаг.

– Одевайся, – сказал Тихон вместо приветствия. – В сюртучке своём не полезешь. Корней велел спецовку тебе дать. Внизу, в ламповой.

– Вы пойдёте со мной?

– А кто ж ещё. – Старик сплюнул в серый снег. – Корней пойдёт, ему положено, он управляющий. Стряпчий пойдёт, ему письмо отдавать. И этот, очкастый, с ним напросился, всё мерить будет. А я пойду, потому как я последний, кто видел, как Захар к Престолу спускался. Сорок лет тому. Мне тогда тридцать три было.

– Вы видели?

– Видел, как спускался. Как поднимался – видел. А что внизу делал – не видел. Никто не видел. – Тихон смотрел на него своими выцветшими глазами. – Ты ночью не спал.

Это не был вопрос.

– Город погас, – сказал Ефим. – В полночь. Все огни.

– Погас, – согласился старик. – Это он повернулся. Первый раз за сорок лет. Учуял, что держателя нет. Ну пошли, нечего стоять.

Ламповая помещалась в длинном бревенчатом здании у самого копра. Там было жарко, людно и пахло керосином, мокрой одеждой и человеческим потом. Вдоль стен тянулись полки с сотнями медных ламп, у каждой – жестяная бирка с номером. За деревянной стойкой сидела толстая баба в мужском ватнике и выдавала лампы горнякам, отмечая что-то в толстой книге. Горняки стояли в очереди – утренняя смена – и, когда Ефим вошёл, очередь замолчала.

– Это он? – спросил кто-то.

– Он, – ответил Тихон. – Расступись.

Ему дали брезентовые штаны, куртку, кожаную шапку с наушниками, высокие сапоги и рукавицы. Всё было велико, всё пахло чужим потом. Пока он переодевался за перегородкой, он слышал, как за стенкой шепчутся.

– Молоденький совсем.

– Захарову кровь не перешибёшь.

– А правда, что он в приюте рос?

– Правда. Марья его сама туда снесла, когда…

– Тише ты, дура! Услышит.

Он вышел из-за перегородки, и шёпот оборвался. Баба за стойкой положила перед ним лампу. Лампа была новая, блестящая, с выбитым на медном кольце номером: «Один».

– Хозяйская, – сказала баба, не глядя на него. – Захарова была номер один. Теперь твоя. Распишись.

Он расписался в толстой книге. Перо скрипнуло. «Ефим». Фамилию он писать не стал.

– Так нельзя, – сказала баба. – Полностью надо.

– Пусть так, – сказал Тихон за его спиной. – Пусть пока так, Феклуша. Он ещё не знает, как полностью.

У ствола их ждали остальные. Ласточкин – тоже в рабочей одежде, которая сидела на нём так, будто он в ней родился. Зонтов – в своём чёрном пальто, только поверх него накинут брезентовый плащ, и шапка надета на котелок, отчего нотариус выглядел нелепо и жалко. Ремезов – с инструментальным ящиком на ремне, с термометром в футляре, с барометром, компасом и тетрадью за пазухой.

– Спуск на первый горизонт, – сказал Ласточкин стволовому. – Восемьдесят саженей. Медленно.

Клеть оказалась железной клеткой высотой в рост человека и шириной на четверых. Они набились в неё впятером, плечом к плечу. Стволовой задвинул решётку, дёрнул за верёвку сигнального колокола – раз, два, – и наверху, далеко, в машинном здании, отозвался другой колокол. Клеть дрогнула.

И пошла вниз.

Ефим никогда не испытывал ничего подобного. Пол ушёл из-под ног, желудок подпрыгнул к горлу. Мимо поплыли мокрые брёвна крепи, сначала медленно, потом быстрее, быстрее. Дневной свет над головой сжался в квадрат, в точку, исчез. Стало темно – совсем, если бы не пять ламп, бросавших жёлтые отсветы на лица. Ветер свистел в решётке. По брёвнам стекала вода, и капли, срываясь, били по шапке, по плечам.

– Не держись за решётку, – сказал Тихон. – Пальцы оторвёт. За меня держись.

Ефим вцепился в рукав старика. Зонтов рядом стоял с закрытыми глазами и беззвучно шевелил губами. Ремезов, наоборот, смотрел на часы и что-то считал, и губы у него тоже шевелились.

Клеть замедлилась и встала, качнувшись на канате. Стволовой – другой, подземный, – отодвинул решётку.

– Первый горизонт, – сказал он. – Приехали, господа.

Они вышли на деревянный помост. Отсюда в обе стороны уходил широкий коридор, обшитый брёвнами, с рельсами посередине, по которым лошадь – настоящая лошадь, низкорослая, мохнатая, с шорами на глазах – тянула вереницу вагонеток с углём. Лошадь прошла мимо, и Ефим почувствовал её запах, тёплый, живой, совершенно неуместный здесь, в восьмидесяти саженях под землёй.

– Они здесь живут? – спросил он. – Лошади?

– Живут, – сказал Тихон. – Годами. Наверх не поднимаем. Ослепнут на солнце. Эта вот, Звёздочка, семь лет как спущена. Пошли. Порог недалеко.

Они шли по коридору минут десять. Мимо проходили горняки с лампами, кивали Тихону, смотрели на Ефима и шли дальше. Чем дальше от ствола, тем ниже становился потолок, тем теснее стены. Воздух был тёплый, влажный и пах всё тем же, чем пахло из ствола, – прелыми листьями и сырой землёй.

– Двенадцать градусов, – бормотал Ремезов, глядя на термометр. – На первом горизонте должно быть семь, от силы восемь. Двенадцать. Месяц назад было девять. Влажность тоже выросла.

– Павел Андреевич, – сказал Ласточкин, не оборачиваясь, – помолчите.

Коридор повернул, и они вышли в небольшой зал – почти круглый, с низким сводом, подпёртым толстыми бревенчатыми стойками. Здесь сходились три коридора: тот, по которому они пришли, и два других, уходивших вниз, наклонно, в темноту. А посреди зала стоял камень.

Он был чёрный, почти в рост человека, грубо обтёсанный, с закруглённой вершиной, и поверхность его блестела в свете ламп, будто мокрая. Ефим не сразу понял почему. Потом понял: камень был отполирован. Не инструментом – руками. Тысячами рук, которые касались его каждый день, девяносто восемь лет. На уровне плеча в нём было вытерто гладкое углубление, похожее на чашу. В камень было вбито железное кольцо, ржавое, древнее.

– Порог, – сказал Тихон и снял шапку.

Ласточкин тоже снял шапку. Зонтов, помедлив, стянул и шапку, и котелок. Ремезов посмотрел на них, вздохнул и тоже обнажил голову.

Мимо прошёл горняк – молодой, рыжий, с кайлом на плече. Он остановился у камня, положил ладонь в гладкое углубление и сказал вполголоса, будто здороваясь:

– Митрофан Сажин. Иду вниз.

И пошёл дальше, в один из наклонных коридоров. За ним прошёл ещё один, и ещё. Каждый останавливался, клал ладонь на камень и называл себя. Имя и фамилию. «Иду вниз». Некоторые добавляли: «Помоги, дедушка». Некоторые – ничего.

– Все так делают? – тихо спросил Ефим.

– Все, – сказал Тихон. – Каждый, кто ниже первого горизонта идёт. Девяносто восемь лет. Прокоп завёл. Кто не назовётся – того Дед не знает. А кого Дед не знает, того он и не бережёт.

– А если кто-то назовётся неправильно? Чужим именем?

Старик посмотрел на него странно.

– Таких не бывало, – сказал он. – Таких дураков нет.

Ласточкин стоял у камня и смотрел на кольцо. Лицо у него было каменное, как сам Порог.

– Аркадий Львович, – сказал он, не оборачиваясь. – Письмо.

Зонтов полез под плащ, достал конверт и протянул его Ефиму. Рука у нотариуса дрожала так, что конверт трепетал, будто живой.

– Вскройте у Порога, – сказал старик. – Такова воля.

Ефим взял конверт. Чёрный сургуч. Кирка и корона. «Сыну. Вскрыть у Порога». Он сломал печать – сургуч треснул с сухим звуком, как ломается сухая ветка, – и вынул два листа плотной бумаги, исписанных тем же тяжёлым почерком, что и надпись на конверте. Почерк к концу второго листа становился всё хуже, буквы налезали друг на друга, строчки сползали вниз.

Он поднял лампу и стал читать. Вслух – потому что Тихон сказал «читай вслух, у Порога молча нельзя».

«Сын.

Я не знаю, как тебя звать по-настоящему. Я знаю имя, которое тебе дали в приюте. Мать хотела назвать тебя иначе, но не успела. Прости, что начинаю с этого. Мне больше не с чего начать.

Ты, должно быть, хочешь знать, почему я не пришёл за тобой. Ответ простой, и ты в него не поверишь, пока не побудешь здесь. Всё, к чему я прикасался, Дед считал своим. Всё, что я любил, становилось платой. Если бы я признал тебя, если бы взял в этот дом, ты стал бы его. Я держал тебя подальше, чтобы он о тебе не знал. Девятнадцать лет. Я думаю, он всё равно знал. Он всегда всё знает.

Теперь о деле. Ты должен продлить Лад. У тебя семь дней. На седьмую ночь, до полуночи, ты должен спуститься к Престолу, положить руку на Ладную плиту и сказать условия. Все. Без ошибки. Тогда Лад продлится, и Дед будет спать ещё одну жизнь.

Беда в том, сын, что я не помню условий.

Мой отец сказал их мне у Престола сорок лет назад. Я их знал. Я их повторил и продлил Лад. А потом я стал их нарушать. Одно за другим. Я думал, что умнее отца и деда. Я думал, что можно договориться иначе. И с каждым нарушением я помнил их всё хуже. Дед забирает память у тех, кто нарушает. Это его месть, или его закон, я не знаю. Сначала я забыл одно. Потом второе. Последние годы я не помнил ничего, кроме того, что их три.

Их три. Это я знаю точно. Найди их.

Я пытался найти сам. Не смог. Я сжёг то, что могло бы помочь, когда ещё думал, что мне это не понадобится. Я запретил то, что могло бы помочь. Я заставил молчать тех, кто мог бы помочь. Я сам себе всё закрыл, все дороги. Теперь ты будешь их открывать.

Не верь тому, кто скажет, что помнит. Никто не помнит. Кто скажет, что помнит, – тот лжёт, и лжёт не просто так.

Твоя мать знала больше меня. Она знала»

Здесь строчка обрывалась. Дальше было что-то зачёркнуто – густо, в несколько слоёв, так, что перо прорвало бумагу. А ниже, совсем уже кривыми, падающими буквами:

«Не могу. Не могу написать. Рука не идёт. Он не даёт.

Ищи. Сначала там, где я сжёг. Потом там, где я закапывал. Потом там, где я велел молчать.

Прости меня. Я был плохим отцом и плохим держателем. Будь лучше.

Захар».

Ефим опустил лист. В зале было очень тихо. Горняки больше не проходили – видно, утренняя смена уже спустилась. Только где-то далеко капала вода.

– Это всё? – спросил Ласточкин. Голос у него был хриплый.

– Всё.

– Дай сюда.

Управляющий протянул руку. Ефим не отдал. Сам не зная почему, он сложил листы и сунул их за пазуху, под рабочую куртку, к шали, которую утром, сам не понимая зачем, повязал под рубаху.

– Это мне, – сказал он. – Он написал «сыну».

Ласточкин медленно опустил руку. На миг Ефиму показалось, что в его лице что-то дрогнуло, что-то промелькнуло и тут же спряталось. Боль? Злость? Он не успел понять.

– Как скажете, – сказал управляющий ровно. – Хозяин.

– «Не верь тому, кто скажет, что помнит», – тихо повторил Зонтов. Нотариус прислонился к стойке, лицо у него было серое. – Господи. Господи помилуй. Он знал, что так будет. Он знал.

– Три условия, – сказал Ремезов. Инженер стоял чуть в стороне, держа в руке термометр, и смотрел не на них, а на Порог. – И никто их не знает. И шесть дней, чтобы найти. Простите, Ефим Захарович. Я не верю в Деда. Но если бы я верил, я бы сказал, что вы в беде.

– Тихон, – сказал Ефим, поворачиваясь к старику. – Вы были здесь сорок лет назад. Вы видели, как он спускался. Может, вы слышали что-то? Хоть одно слово?

Старик долго молчал. Он стоял, опустив голову, сжимая в изуродованной руке свою шапку.

– Слышал, – сказал он наконец. – Песню. Когда Захар спускался к Престолу, на всех горизонтах пели. Все горняки. Тогда ещё пели. Это потом он запретил.

– Какую песню?

– Дедову. – Тихон поднял на него глаза, и в них было что-то беспомощное, детское. – Я её знал, сынок. Сорок лет назад я знал её всю. Я сам пел. А теперь… – Он покачал головой. – Мотив помню, а слов нет. Как вымыло. Все забыли. Он запретил петь, и через год никто уже не помнил. Будто и не было никогда.

– Мотив, – сказал Ефим. – Напойте.

Старик открыл рот. Закрыл. Посмотрел на Ласточкина, будто ждал разрешения. Управляющий не шелохнулся.

– Не могу, – сказал Тихон хрипло. – Тут, у Порога – не могу. Нельзя без слов. Наверху, может…

Ефим отвернулся от него и подошёл к камню. Сам не зная зачем. Ноги сами принесли. Он постоял перед гладким чёрным боком Порога, потом снял рукавицу и положил ладонь в вытертое углубление.

Камень был тёплый. Не как камень – как живое тело. Как бок спящей лошади. И под ладонью что-то двигалось. Медленно, ритмично, глубоко-глубоко внутри.

– Ефим, – сказал он.

Он не собирался ничего говорить. Слово вышло само.

– Ефим, – повторил он. – Иду вниз.

И тогда он услышал.

Это пришло не из камня и не из коридоров. Это пришло отовсюду сразу и ниоткуда – из-под ног, из стен, из собственной груди. Гул. Тот самый, что он слышал ночью из окна. Но здесь,

вблизи, он был не гулом. Он был голосом. Низким, бесконечно далёким голосом, который тянул мелодию.

Вниз, вниз, по ступенькам. Его песня. Песня из его сна. Та самая, которую пела женщина в темноте, тёплой, как погреб с яблоками. Вниз, вниз, а потом медленно, трудно – вверх.

И одно слово. Он услышал его ясно, впервые в жизни ясно, будто кто-то сказал его прямо ему в ухо.

«Помни».

Мелодия пошла вверх, выше, выше – и оборвалась на высокой ноте. В том же самом месте.

Ефим отдёрнул руку. Его трясло. Он обернулся и увидел, что все четверо смотрят на него.

– Вы слышали? – спросил он.

– Что? – сказал Ласточкин.

– Песню. Вы слышали песню?

Управляющий молчал. Зонтов смотрел на него расширенными глазами. А старый Тихон Пяткин вдруг опустился на колени прямо на мокрые доски, перекрестился и заплакал – беззвучно, некрасиво, по-стариковски, раскрыв беззубый рот.

– Отозвался, – сказал он сквозь слёзы. – Господи, отозвался. Сорок лет ни на кого не отзывался.

Ремезов, бледный, как полотно, медленно поднял руку с термометром и посмотрел на шкалу.

– Пятнадцать, – сказал он шёпотом. – Пятнадцать градусов. За одну минуту.

Наверх поднимались молча. В клети Ефим стоял, прижавшись спиной к решётке, и чувствовал сквозь рубаху тепло письма и шали, будто они впитали тепло камня. Тихон держал его за рукав, как держат ребёнка в толпе, и не отпускал до самого верха.

Наверху был день – серый, мутный, но после темноты он резал глаза. Ефим зажмурился и не сразу увидел, что у ствола собрались люди. Не много, человек двадцать. Бабы с сортировки, несколько стариков, мальчишки-лампоносы. Они стояли поодаль и смотрели на клеть.

– Чего надо? – рявкнул Ласточкин.

Никто не ответил. Но Ефим понял. Они слышали. Здесь, наверху, они тоже слышали, как гул на минуту стал песней. И пришли посмотреть, кто её разбудил.

Ласточкин догнал его у ламповой, когда остальные отстали.

– Ефим Захарович. – Управляющий шёл рядом, глядя прямо перед собой. – «Где я сжёг. Где я закапывал. Где я велел молчать». Вы понимаете, что это?

– Пока нет.

– Сжёг он счётные книги. Тридцать лет назад. В кабинете, в печи. Все это знают. – Ласточкин помолчал. – А велел молчать он одной старухе. Ульяне Голубевой. Песеннице. Живёт за отвалами, на Гнилом конце. Она полоумная. Захар ей язык завязал, так в городе говорят. Что она вам скажет – не знаю. Может, ничего.

– Почему вы мне помогаете?

Ласточкин наконец посмотрел на него.

– Потому что я хочу жить, – сказал он. – Как и все здесь. Сдайте лампу Феклуше. Номер один не теряют.

Он ушёл к конторе широким шагом, а Ефим остался стоять у ламповой, держа в руке медную лампу с выбитой единицей. Ульяна Голубева, повторил он про себя. Гнилой конец. Он не знал, где это. Но знал, кто в этом городе знает все дороги и кому за это можно заплатить.

Глава 6. Бабка Ульяна

Сортировка стояла за копром – длинный дощатый навес над наклонными желобами, по которым из вагонеток сыпался уголь. Вдоль желобов, по обе стороны, на низких скамейках сидели женщины и девчонки, и руки у них мелькали так быстро, что глаз не успевал следить. Они выбирали из угольного потока куски пустой породы – серые, бурые, с прожилками – и швыряли их в корзины у ног. Грохот здесь стоял такой, что приходилось кричать. Пыль висела в воздухе густым облаком, и лица у всех были чёрные, как у трубочистов. Только глаза блестели.

Варю Ефим узнал не по лицу – лиц тут было не различить, – а по мужской шапке с опущенными ушами. Она сидела в самом конце желоба, у дальнего края, где поток был самый быстрый.

Он подошёл и встал рядом. Варя не подняла головы.

– Чего тебе? – крикнула она сквозь грохот.

– Поговорить.

– Не о чем.

– Мне нужен проводник. На Гнилой конец. К Ульяне Голубевой.

Руки её на миг замерли над желобом. Кусок породы проскочил мимо и улетел вниз, в бункер. Соседка, рябая баба лет сорока, сердито ткнула её локтем.

– Не знаю такой, – крикнула Варя и снова замелькала руками.

– Знаешь. Её все знают.

– Тогда пусть тебя все и ведут.

– Я заплачу.

Она наконец подняла голову. Глаза у неё в чёрной маске пыли казались совсем светлыми, почти прозрачными.

– Сколько?

– Пять рублей.

Соседка-рябая присвистнула. Пять рублей выборщица получала за полмесяца. Варя молчала, глядя на него, и он видел, как в ней борются гордость и что-то другое, более сильное.

– У Мишки сапоги прохудились, – сказала она наконец, будто себе. – Опять до весны не дотянут. – И уже громче, ему: – Через час смена кончится. Жди у ворот. Деньги вперёд.

– Половину вперёд.

– Все вперёд, Захарович. Или ищи сам.

Он отдал ей синюю бумажку из тех, что дал Сычёв. Она сунула её за пазуху, не глядя, и отвернулась к желобу.

Ждать у ворот пришлось не час, а полтора. Ефим ходил взад-вперёд вдоль забора, смотрел, как дымится ближний отвал – огромный конус из серой породы, высотой с трёхэтажный дом, весь в трещинах, из которых сочился желтоватый дымок. На склоне отвала копошились фигурки – дети, старухи с мешками. Они выковыривали из породы куски угля и складывали в мешки.

– Подбирают, – сказала за его спиной Варя. – Кто на шахте не работает, тому угля не дают. Вот они и подбирают. Кто сгорит, кто задохнётся. В прошлую зиму трое ребятишек провалились в прогар. Пошли, раз уж платишь.

Она умылась – лицо было мокрое, красное от холодной воды, но под ногтями и в морщинках у глаз всё равно чернела пыль. Шапку она сдвинула на затылок, и Ефим увидел, что волосы у неё тёмно-русые, коротко, по-мальчишески остриженные.

– Вши, – сказала она, перехватив его взгляд. – Летом были. Пришлось обрить. Что уставился?

– Ничего. Пойдём.

Они шли через город – мимо площади, мимо церкви, мимо длинных бараков, где жили семейные горняки, по десять семей в бараке. Мимо лавок с забитыми окнами. Мимо кабака, у дверей которого, прямо на снегу, спал пьяный человек в одной рубахе, и никто его не будил. Варя шла быстро, не оглядываясь, и Ефим едва за ней поспевал.

– Чей это кабак? – спросил он.

– Твой, – сказала Варя, не оборачиваясь. – И лавки твои. И бараки твои. И снег, на котором он спит, тоже твой. Тут всё Черноярovское. Жалованье платят талонами, а талоны берут только в Черноярovских лавках. А в лавках всё втрое дороже, чем в Зареченске. Так что к концу месяца все Черноярovым должны. Вот такое у тебя королевство, Захарович. Нравится?

– Нет.

Она быстро глянула на него через плечо. Наверное, ждала другого ответа.

– Ничего, привыкнешь, – буркнула она.

За последними бараками город кончался, и начинались отвалы – десятки серых конусов, больших и малых, тлеющих, дымящихся. Между ними петляла тропинка, и вдоль неё стояли лачуги. Не дома – именно лачуги, слепленные из чего придётся: из горбыля, из старых шпал, из кусков жести, из глины пополам с породой. Над лачугами курился дым. Пахло серой так, что щипало глаза.

– Гнилой конец, – сказала Варя. – Тут живут те, кому в бараках места нет. Вдовы. Калеки. Старики, которых из шахты выгнали. Здесь земля горячая, видишь? – Она топнула ногой. Снега на тропинке действительно не было – он таял, едва касаясь земли, и тропинка была чёрной и влажной. – Под нами старые выработки. Ещё Прокоповы. Там уголь горит, лет пятьдесят уже. Зимой тепло, топить не надо. Зато летом дышать нечем. И бывает, что земля проваливается. Целиком, вместе с домом.

– И люди здесь живут?

– А куда им деваться? – Варя пожала плечами. – Ты не задавай таких вопросов, Захарович. Тут таких вопросов не задают.

Лачуга Ульяны Голубевой стояла на отшибе, у подножия самого старого отвала, почти совсем осевшего и поросшего чахлым бурьяном. Она была меньше прочих и чище – стены побелены известью, на крыше дранка, окошко затянуто настоящим стеклом, хоть и мутным. У двери висела деревянная клетка, а в ней сидела маленькая серая птица и молча смотрела на них круглым глазом.

– Щегол, – сказала Варя. – Она их ловит и держит. Говорит, они ей поют, раз уж ей самой нельзя. Только этот не поёт. Дым ему горло сжёг. – Она постучала в дверь костяшками. – Бабушка Ульяна! Это Варька Кремнёва. Я к вам гостя привела.

Долго никто не отвечал. Потом за дверью что-то зашуршало, и скрипучий голос сказал:

– Гостя. Какого гостя?

– Хорошего, бабушка. Он заплатил.

Дверь открылась. На пороге стояла старуха – маленькая, сгорбленная, в трёх платках, один поверх другого, и в длинной юбке, подоткнутой за пояс. Лицо у неё было тёмное, сморщенное, как печёное яблоко, а глаза – светлые, серые, с тёмной крапинкой в радужке, и Ефим вдруг замер, потому что каждый день видел такие глаза в зеркале.

Старуха тоже замерла. Она смотрела на него снизу вверх, и рот у неё медленно открывался.

– Ох, – сказала она. – Ох, господи. Ох, Марья.

– Бабушка, – начала Варя.

– Уходи, – сказала старуха Ефиму и попятилась. – Уходи. Не надо. Нельзя. Ты не ко мне. Ты к нему иди, он тебя ждёт, он всех ждёт…

– Бабушка Ульяна. – Ефим шагнул к ней. – Пожалуйста. Я не причиню вам зла. Мне нужна песня.

Старуха остановилась. Руки у неё – маленькие, коричневые, с распухшими суставами – мелко затряслись.

– Песня, – повторила она шёпотом. – Он за песней пришёл. Варька, ты слышишь? За песней. – И вдруг засмеялась – тихо, страшно, беззубым ртом. – А песни нет! Нету песни! Захар её съел! Взял и съел, косточки обглодал, а мне горло завязал, вот так, вот так. – Она провела пальцем поперёк своей шеи, будто затягивая петлю. – Заходите. Заходите, раз пришли. Холодно.

Внутри лачуги было тесно, жарко и чисто. Половину места занимала печь, побелённая, как и стены. На печи – лоскутное одеяло. В углу – образа с лампадкой. А по стенам, от пола до потолка, висели клетки. Деревянные, ивовые, проволочные. Двадцать, тридцать клеток. И в каждой сидела птица – щеглы, снегири, чижи, синицы, какие-то серые пичуги, которых Ефим не знал. Птицы сидели молча. Все до единой. Ни одна не пела, не чирикала, не шуршала крыльями. Только поворачивали головы и смотрели на вошедших.

– Они не поют, – сказала Ульяна, садясь на лавку у печи. – Никто здесь не поёт. Садитесь. Варька, налей гостю кипятку. Чаю нету. Сахару нету. Кипяток есть.

Варя молча взяла с печи закопчённый чайник и налила в жестяную кружку. Ефим сел на лавку напротив старухи. Кипяток пах дымом.

– Бабушка Ульяна, – сказал он. – Меня зовут Ефим. Я сын Захара Черноярова. Мне нужно продлить Лад, а я не знаю условий. Никто не знает. Отец написал мне перед смертью, что вы… что он заставил вас молчать. Что вы что-то знаете.

– Знаю, – сказала старуха. – Знаю, знаю. Я всё знаю. Только сказать не могу. Он мне язык завязал.

– Как?

Она долго смотрела на него своими серыми глазами с крапинкой.

– Пришёл ко мне, – сказала она наконец, – двадцать лет назад. Сюда вот пришёл, в этот дом. Тогда ещё у меня был другой дом, в городе, хороший. Это потом я сюда переехала. Пришёл, сел вот там, где ты сидишь. И сказал: «Ульяна, ещё раз запоёшь Дедову песню – я твою Марью…» – Старуха осеклась. – Нет. Нет, этого не скажу. Не надо. Сказал он мне так: «Запоёшь – пожалеешь». И я не пою. Двадцать лет. Ни разу.

– Но вы её помните?

– Помню. – Старуха вдруг выпрямилась, и голос её стал другим, звонким, молодым. – Помню, помню. Хочешь, спою?

И, не дожидаясь ответа, запела.

Голос у неё был надтреснутый, старческий, но под этой трещиной, под хрипом и одышкой, ещё жило что-то – сила, глубина, тень того, чем этот голос был когда-то. Птицы в клетках разом повернули головы к ней. Варя, стоявшая у печи с чайником, застыла.

Мелодия пошла вниз. По ступенькам. Ефим узнал её с первых звуков и почувствовал, как по спине бегут мурашки.

«Как под горою, под горой,
лежит Дедушка сырой.
Он лежит, лежит, лежит,
он под пластом не дрожит.
Ты, Дедушка, не гневись,
ты на нас не обернись,
мы возьмём, что ты дашь,
мы споём, что ты взял…»

Мелодия была та. Но что-то в ней было не так. Ефим не сразу понял что. Потом понял: она шла не туда. В его сне песня спускалась вниз, вниз, а потом поднималась. А у Ульяны она спускалась и спускалась, ниже и ниже, и никак не могла подняться. Будто кто-то сломал ей

хребет. И слова – слова не ложились на мотив. Они цеплялись за него, рвались, спотыкались. «Мы возьмём, что ты дашь» – и голос сам собой, против воли певицы, срывался, будто натыкался на что-то.

– Не так, – вдруг сказала Варя от печи. – Бабушка, не так ведь. Вы же неправильно поёте.

Старуха оборвала песню на полуслове. Посмотрела на Варю, и в глазах у неё стояли слёзы.

– Неправильно, – согласилась она. – Неправильно, дочка. Я двадцать лет пою неправильно. Не могу правильно. Рот не даёт. Начну правильно – а слова сами выворачиваются, как бельё на ветру. Это он мне так завязал. Не язык. Песню завязал. Чтобы я её не пела, даже если захочу.

– Откуда ты знаешь, что неправильно? – спросил Ефим у Вари.

Варя покраснела под остатками пыли.

– Отец пел, – сказала она неохотно. – Иногда. Когда пьяный был. Тихо, чтобы никто не слышал. Мне маленькой. Не эти слова. Другие. И мотив другой был. Вверх шёл.

– Ты помнишь?

– Нет. – Она отвернулась. – Я маленькая была. Мне четыре года было. Я только помню, что вверх.

Ефим снова повернулся к старухе. Ульяна сидела на лавке, сгорбившись, и плакала – беззвучно, как плакал утром у Порога Тихон.

– Бабушка, – сказал он мягко. – Если вы не можете спеть правильно – может, вы можете сказать? Хотя бы намекнуть? Хоть одно слово?

Старуха долго молчала. Потом вытерла глаза уголком платка и поманила его пальцем. Он наклонился к ней. Она взяла его лицо в свои маленькие сухие ладони и долго смотрела ему в глаза.

– Марьины, – прошептала она. – Как есть Марьины. Крапинка. У неё такая была, и у меня такая. Слушай меня, Марьин сын. Слушай и запоминай. Скажу один раз, второй раз не смогу – он не даст.

Она глубоко вдохнула. Птицы в клетках все разом пригнулись, будто перед бурей.

– Три их, – сказала старуха. – Три условия. Первое – в книге, что сожгли. Второе – в земле, что без имён. Третье – в горле, что не поёт.

Она выдохнула, и лицо её вдруг исказилось. Она схватилась за горло обеими руками, захрипела, закашлялась – долго, мучительно, сгибаясь пополам. Варя бросилась к ней, обхватила за плечи. Ефим вскочил.

– Воды! – крикнула Варя.

Он схватил кружку, сунул старухе в руки. Она отпила, расплескав половину на платки, и кашель понемногу утих. Она сидела, тяжело дыша, держась за горло, и лицо её было серым.

– Всё, – прохрипела она. – Всё. Больше не могу. Уходите.

– Бабушка…

– Уходите! – Она замахала на них руками. – Уходите, уходите! И не приходи больше, Марьин сын! Слышишь? Не приходи! Он узнает! Он всё узнаёт!

Они вышли. Дверь за ними захлопнулась, и они услышали, как изнутри лязгнул засов. Щегол в клетке у двери смотрел на них круглым глазом.

Варя стояла на тропинке, сжав кулаки, и смотрела на дверь.

– Двадцать лет, – сказала она. – Двадцать лет она так живёт. Одна. С птицами, которые не поют. А я думала – полоумная. Все думали – полоумная. – Она повернулась к Ефиму. – Что она тебе сказала? «Марьин сын». Кто такая Марья?

– Моя мать, – сказал Ефим. – Я не знаю, кто она. Знаю только имя.

Варя смотрела на него долго, прищурившись.

– Голубева, – сказала она медленно. – Ульяна – Голубева. У неё дочь была, говорят. Давно. Красивая. Пела лучше всех в Копотни. Уехала куда-то, и больше её не видели. Я маленькая была, не помню. Мамка рассказывала.

Ефим ничего не ответил. Он стоял на тёплой чёрной тропинке, между тлеющими отвалами, и смотрел на побелённую лачугу, где за дверью, запертой на засов, плакала старуха в трёх платках. Серые глаза с тёмной крапинкой. Как в зеркале.

– Пойдём, – сказала Варя, неожиданно тихо. – Темнеет. Тут по темноте ходить нельзя, провалишься.

Они пошли обратно. Варя шла впереди, но теперь медленнее, и иногда оглядывалась, проверяя, идёт ли он следом.

– Первое – в книге, что сожгли, – сказала она, когда они вышли к баракам. – Это про счётные книги. Захар их спалил, все знают. Тридцать лет назад, в ту же зиму, когда песню запретил.

– Я знаю.

– Если спалил – то спалил. Их нет.

– Книги горят плохо, – сказал Ефим. – Ты не знаешь, а я знаю. Я пять лет чиню книги. Их топили, жгли, рвали, крысы их грызли. Книга – это не дрова. Если её бросить в печь целиком, обложка сгорит, а середина может остаться. Обуглится по краям, а внутри – уцелеет. Надо только найти, куда он её бросил.

Варя остановилась и посмотрела на него – по-новому, будто впервые увидела.

– В кабинете, – сказала она. – В кабинете у него печь. Изразцовая. Мамка говорила, когда он книги жёг, дым из трубы шёл зелёный, три дня. Весь город видел.

– Значит, туда и пойду.

– Сегодня?

– Сегодня. У меня шесть дней. Даже меньше. – Он помолчал. – Спасибо тебе, Варя.

Она фыркнула.

– За пять рублей и не так поведу, – сказала она. Но не ушла. Постояла ещё, переминаясь с ноги на ногу. Потом сказала, глядя в сторону: – Слушай, Захарович. Если найдёшь там что-нибудь. В книге этой. Про Сердцевину. Про ту ночь, когда отец… Ты мне скажешь?

– Скажу.

– Обещаешь?

– Обещаю.

– Ну смотри. – Она надвинула шапку на глаза. – Если соврёшь – я тебя сама в прогар столкну.

И ушла в темноту между бараками, не попрощавшись.

Ефим поднимался к Угольному дому один. Дорога шла в гору, мимо шахтного забора, и за забором ровно гудел копёр. Он шёл и повторял про себя три строчки, чтобы не забыть, хотя знал, что не забудет и через сто лет. В книге, что сожгли. В земле, что без имён. В горле, что не поёт.

«Ищи. Сначала там, где я сжёг. Потом там, где я закапывал. Потом там, где я велел молчать», – писал отец. Старуха сказала то же самое, только другими словами. Будто два человека, которые двадцать лет не разговаривали, вдруг ответили ему одним голосом.

У ворот Угольного дома горели плошки. Сторож с ружьём посторонился, пропуская его, и сказал в спину:

– Корней Ильич спрашивал, где вы были, барин.

– Гулял, – сказал Ефим.

Он поднялся на крыльцо и оглянулся. Внизу, на Гнилом конце, среди тлеющих отвалов, светилось одно окошко – маленькое, мутное, со стеклом. Потом оно погасло.

Глава 7. Сожжённая книга

Кабинет был заперт.

Ефим стоял перед дубовой дверью с бронзовой ручкой и думал о том, что за последние два дня привык к запертым дверям. Запертое письмо. Запертая песня. Запертая старуха. Теперь – запертый кабинет человека, который девятнадцать лет держал его взаперти от самого себя.

– Ключ у Аркадия Львовича, – сказала Матрёна. Горничная стояла за его спиной с подсвечником, и огонёк дрожал у неё в руке. – Как душеприказчик. И у Корнея Ильича второй. А больше ни у кого.

– А у Агнии Фёдоровны?

– У барыни нету. Барин не давал. Она в кабинет за тридцать лет, может, раз пять входила.

Зонтов жил не в Угольном доме, а в собственном доме на площади, у церкви. Ефим не хотел идти к Ласточкину. Он спустился вниз, накинул пальто и вышел на мороз.

Нотариус открыл сам, в халате и ночном колпаке, со свечой в руке. Увидев Ефима, он не удивился.

– Кабинет, – сказал он. – Я так и думал. Подождите здесь.

Он вернулся через минуту с тяжёлым железным ключом на шнурке.

– Вы нашли старуху?

– Нашёл.

– Она что-нибудь сказала?

– Сказала. «Первое – в книге, что сожгли».

Зонтов долго молчал, держа ключ на весу.

– Я был там, – сказал он наконец. – Тридцать лет назад. В ту ночь. Я был тогда молодым помощником нотариуса, и Захар Игнатьевич вызвал меня засвидетельствовать уничтожение старых счётных книг. Как ненужных бумаг. Я смотрел, как он бросает их в печь. Одну за другой. Их было семь. Шесть обычных, конторских, в холщовых переплётах. А седьмая – маленькая, в чёрной коже, с медными застёжками. Её он держал дольше всех. Держал, смотрел на огонь. А потом бросил. И сказал: «Всё, Аркадий. Теперь никто не будет знать». И я подписал акт. – Нотариус вложил ключ ему в ладонь и сжал его пальцы своими, холодными и сухими. – Я подписал, Ефим Захарович. Я тридцать лет об этом думаю.

– Вы видели, как она сгорела?

– Я видел, как она упала в огонь. А потом Захар Игнатьевич закрыл заслонку и велел мне уходить. И больше эту печь никогда не топили. Он велел замазать топку глиной. Кабинет потом грели из соседней комнаты, через стену.

Ефим почувствовал, как у него быстрее забилось сердце.

– Никогда? За тридцать лет – никогда?

– Никогда. Матрёна вам подтвердит.

– Спасибо, Аркадий Львович.

Он уже повернулся уходить, когда нотариус сказал ему в спину:

– Будьте осторожны. В доме не все спят по ночам.

Кабинет ночью был другим. Звёзды на закопчённом потолке казались настоящими, и в свете свечи поблёскивали угольные образцы в витринах. Папоротник, которого никогда не было на земле. Кора несуществующего дерева. Ефим поставил на письменный стол две лампы, которые взял из своей комнаты, разжёг их на полную силу и подошёл к печи.

Печь стояла в углу – большая, изразцовая, до потолка, белая с синими узорами. Изразцы потрескались и пожелтели. Топка внизу, за чугунной дверцей, действительно была замазана глиной, давно высохшей и растрескавшейся. Глина побелела от времени и кое-где осыпалась.

Ефим взял со стола тяжёлое бронзовое пресс-папье в форме кирки и стал осторожно откалывать глину. Она поддавалась легко, крошилась и сыпалась на паркет серыми комками. Через несколько минут дверца освободилась. Он потянул её на себя. Дверца не шла – петли проржавели. Он упёрся ногой в изразцы, рванул, и дверца открылась с визгом, от которого он сам вздрогнул.

Из топки пахнуло холодом, сажей и чем-то ещё – запахом горелой кожи, такой старой, что он почти выветрился.

Он лёг на пол и посветил внутрь лампой.

Топка была полна золы. Серой, слежавшейся, плотной, как войлок. Тридцатилетняя зола. В ней виднелись какие-то чёрные комья, обрывки, скрученные лепестки пепла, которые рассыпались от одного дыхания. Ефим задержал дыхание и стал осторожно, пальцами, разгребать золу.

Конторские книги сгорели. Он нашёл их остатки – медные уголки переплётов, обрывки бечёвки, скрученные огнём железные скрепки. От самих книг остались только чёрные слоистые лепёшки, которые рассыпались в пыль, едва он их трогал. Обычная бумага. Дешёвая. Сгорела дотла.

Но в глубине топки, у самой задней стенки, лежало что-то другое.

Он сначала подумал, что это кусок угля. Чёрный, бесформенный ком величиной с два кулака. Но когда он коснулся его пальцами, ком оказался шершавым и лёгким. И под пальцами звякнуло что-то металлическое.

Медная застёжка.

Ефим очень медленно, очень осторожно, подсунув ладонь снизу, вынул ком из топки и положил на расстеленный на полу лист бумаги. Потом зажёг третью лампу и поставил рядом. Долго смотрел, не прикасаясь.

Это была книга. Маленькая, в ладонь, толстая. Кожаный переплёт сгорел и превратился в чёрную хрупкую корку, вздувшуюся пузырями. Края страниц обуглились и спеклись в сплошную массу. Но книга была толстой – очень толстой, листов, наверное, на триста, – а толстые книги горят снаружи. Огонь ест края, корешок, обложку. А середина, сдавленная со всех сторон, задыхается без воздуха и остаётся. Он видел такое десятки раз. Фрол Игнатьевич однажды принёс церковную книгу, которая пролежала в сгоревшем доме неделю под обломками крыши. Снаружи – уголь. Внутри – половина страниц уцелела, только побурела.

К тому же печь закрыли сразу. Захар Игнатьевич захлопнул заслонку. Без тяги огонь задохся.

– Ну, – сказал Ефим вслух. – Ну, давай. Покажись.

Он сходил к себе за мешком. Достал костяной нож, кисточку, лупу, моток нитки. Попросил у Матрёны – она не спала, сидела на кухне у печи и вязала – большой чайник кипятку, чистые полотенца и стопку промокательной бумаги из конторского шкафа. Старуха принесла всё сама, на подносе, и долго стояла в дверях кабинета, глядя, как он раскладывает инструменты.

– Барин, – сказала она тихо. – Это та самая? Чёрная?

– Ты её видела?

– Видела. Её Игнат Прокопьевич всё время при себе носил. В кармане. А после него – Захар. А потом сжёг. – Она перекрестилась. – Господи. Барин, может, не надо? Он её не зря сжёг.

– Он её сжёг, потому что думал, что умнее своих отцов, – сказал Ефим. – А потом пожалел. Иди спать, Матрёна. Мне надо работать.

Старуха ушла, но он слышал, что она не пошла к себе, а осталась сидеть где-то в коридоре.

Работа шла медленно.

Сначала он снял обгоревший переплёт. Это было легко – корка отделилась сама, рассыпаясь на чешуйки. Медные застёжки он отложил в сторону. Под переплётом оказался спёкшийся блок бумаги, чёрный по краям, бурый ближе к середине. Корешок сгорел совсем, нитки истлели, и листы держались друг за друга только тем, что огонь их склеил.

Он поставил чайник на край стола и держал книгу над паром. Недолго – несколько вдохов. Пар размягчал спёкшиеся края. Потом он клал её на промокательную бумагу и самым кончиком костяного ножа поддевал верхний лист. Медленно. Задерживая дыхание. Если лист рвался, он останавливался, ждал, снова держал над паром и снова пробовал.

Первые двадцать листов погибли. Они рассыпались в чёрную труху, как только он их коснулся. На двадцать первом проступили буквы – бурые, выцветшие, наполовину съеденные огнём. Он поднёс лупу.

«…в лето от основания четвёртое…»

Дальше – чернота.

Двадцать второй лист. Двадцать третий. Они отделялись всё легче. Бумага была плотная, старинная, тряпичная, такая, какую теперь уже не делают, – она горела хуже нынешней. Ефим раскладывал отделённые листы на промокательной бумаге по всему полу кабинета, рядами, по порядку, и придавливал края стеклянными крышками от витрин, которые снял для этого.

К двум часам ночи у него было сорок семь листов. Обгоревших по краям, бурых, с дырами, но читаемых. Почерк на них был разный. Первые страницы – крупный, угловатый, с архаичными завитушками, явно очень старый. Ефим не сразу смог разбирать буквы. Потом привык. Это был Прокоп. На одном листе, в самом верху, сохранилась строчка: «Писано рукою Прокопа Черноярова, первого держателя».

Он сел на пол среди разложенных листов и долго не мог читать дальше. Руки тряслись. Не от усталости. От того, что этой рукой, девяносто восемь лет назад, писал его прадед. Человек, у которого были те же самые семь колосьев, что и на материнской шали.

Он заставил себя прочесть первую уцелевшую страницу целиком.

«…и сошёл я вниз, до самого Престола, и лёг там на камень, и спал три дня. А на третий день он пришёл ко мне во сне. И показал мне лес. Лес был такой, какого нет на земле. Деревья выше колокольни, и листья на них, как перья. И сказал он мне: это я. Это всё я. Вы берёте меня по кусочку и жжёте в печах. Я не против, сказал он, берите. Только помните, чьё берёте. И мы уговорились…»

Дальше страница была прожжена насквозь. Дыра величиной с ладонь.

Ефим перешёл к следующему листу. «…три условия, и пока держатель их помнит и город их держит, Лад стоит. А первое…»

Конец страницы сгорел.

Он перевернул лист. Обратная сторона была чистой – только бурое пятно в углу. Следующий лист был Прокоповым, и на нём, почти целиком, уцелела запись.

«…поставил у первого спуска камень, чёрный, с жилы снятый, и велел всякому, кто идёт вниз, руку класть и себя называть. Он сказал мне: я вас не вижу, я сплю. Я слышу только имена. Кто назовётся, того я узнаю и того не трону, как не трогает спящий того, кто лёг рядом с ним. А кого не знаю, того могу задеть во сне, как задевают рукой муху. Потому пусть ни один не идёт без имени. И ни один не останется без имени, если останется…»

Дальше огонь прошёл косо, по диагонали, и съел нижнюю половину. Уцелело только одно слово, в самом углу, у края: «…поминать».

Ефим перечитал запись трижды. Камень у первого спуска – это Порог. Значит, Порог поставил Прокоп, и поставил не просто так. «Ни один не останется без имени, если останется». Он не понимал, что это значит, и записал эти слова на чистом листе отдельно, крупно, чтобы не потерять. Он взял следующий. Почерк сменился: теперь он был мельче, аккуратнее, контор-

ский. Это, наверное, был Игнат. Столбцы цифр. Даты. «Добыто с верхнего горизонта столько-то пудов. Со среднего – столько-то». Ничего про условия.

Ещё двенадцать листов – цифры, цифры, цифры. Он устал, глаза слипались. Лампы чадили. Он поднялся, чтобы подкрутить фитили, и почувствовал, что ноги затекли так, что едва держат.

– Матрёна, – позвал он, приоткрыв дверь в коридор. – Ты здесь?

Тишина. Коридор был тёмный. Только в самом конце, у лестницы, тлела лампадка перед иконой. Старуха, видно, всё-таки ушла спать.

Он вернулся к столу. На столе лежал сам книжный блок – то, что от него осталось. Ещё листов сто, не меньше, спёкшихся в середине. Самая сердцевина. Там, где огонь не достал. Ефим посмотрел на часы. Половина третьего. Если работать до утра, он отделит ещё листов тридцать, может, сорок.

Он решил сначала спрятать то, что уже есть. Не потому что боялся – просто так было правильно. Так учил Сычёв: отделённые листы сразу под пресс, иначе покоробятся. Пресса здесь не было, но были книги. Он снял с полки две толстые переплетённые подшивки горного вестника, вынул из рядов на полу примерно половину отделённых листов – самые ранние, Прокоповы, и самые хрупкие, – переложил их промокательной бумагой и сунул между подшивками. Подшивки положил на нижнюю полку шкафа, в самый угол, за ящик с образцами. Остальные листы, Игнатовы, с цифрами, оставил сохнуть на полу.

Потом снова сел за стол и взялся за блок.

Он не помнил, когда задремал. Помнил только, что отделял очередной лист, держа над ним лупу, и буквы на листе вдруг поплыли, сложились в узор, в листья папоротника, в лес. В лесу кто-то пел. Вниз, вниз…

Его разбудил сквозняк.

Холодный воздух коснулся шеи. Ефим поднял голову от стола и не сразу понял, где он. Лампы горели. Одна почти погасла, чадила. Дверь в коридор, которую он закрыл, была открыта.

– Матрёна? – сказал он.

Тень отделилась от стены за его спиной. Он не успел обернуться.

Удар пришёлся в затылок. Не очень сильный – или ему так показалось. Он даже не почувствовал боли, только вспышку, белую, ослепительную, и пол вдруг поехал навстречу. Он упал со стула, ударился плечом о паркет, и лицо его оказалось прямо над разложенными листами. Он видел их – бурые, обгоревшие, ряды, ряды – и видел, как чья-то рука в чёрной перчатке сгребает их с пола. Быстро, грубо, комкая. Он хотел крикнуть: «Осторожно, порвёшь!» – но изо рта вышел только хрип.

Рука потянулась к столу, к книжному блоку. Ефим, сам не понимая как, дёрнулся и вцепился в неё. В чужое запястье. Пальцы скользнули по перчатке, по рукаву – толстое сукно, – и рука вырвалась. Его ударили ещё раз, ногой в бок. Дыхание вылетело из груди. Он скорчился на полу, хватая ртом воздух.

Шаги. Быстрые, тяжёлые. Дверь. Тишина.

Он лежал, пока снова не смог дышать. Потом поднялся на четвереньки. Голова гудела, как шахта. Перед глазами плыли круги. Он потрогал затылок – пальцы стали липкими, и он тупо посмотрел на кровь, тёмную в свете лампы.

Пол кабинета был пуст. Все листы, которые он оставил сохнуть – Игнатовы, с цифрами, – исчезли. Книжного блока на столе тоже не было. Только промокательная бумага, смятая, разорванная, и осколки стеклянной крышки от витрины.

Ефим поднялся, держась за край стола. Пошатываясь, дошёл до шкафа. Опустился на колени. Нижняя полка. Угол. Ящик с образцами.

Подшивки горного вестника были на месте.

Он вытащил их и раскрыл. Между ними, переложенные промокательной бумагой, лежали двадцать три листа. Ранние. Прокоповы. Уцелевшие.

Он сел на пол, прижимая подшивки к груди, и засмеялся – тихо, глупо, сквозь звон в голове. Потом перестал смеяться, потому что смеяться было больно.

В коридоре послышались шаги – шаркающие, старушечьи. В дверях появилась Матрёна со свечой, в ночной рубахе и платке.

– Господи! – вскрикнула она. – Барин! Что ж это… кровь…

– Ничего, – сказал Ефим. – Упал. Матрёна, ты кого-нибудь видела? В коридоре? Только что?

– Никого, барин. Я на кухне задремала… Слышу – стукнуло что-то. Я и пошла. Никого не видела, вот вам крест. – Она поставила свечу на пол и опустилась рядом с ним на колени, причитая, ощупывая его голову. – Ой, батюшки… Ой, рассекли… Это кто же? Это ж в доме…

– Матрёна, – сказал Ефим. – Послушай меня. Кто в доме носит чёрные перчатки?

Старуха замерла.

– Да все, барин, – сказала она растерянно. – Траур же. Барыня носит. Корней Ильич носит. Господин Мальцев. Конторские все. Все в чёрных перчатках с похорон ходят.

Ефим закрыл глаза. Конечно. Все.

– Принеси воды, – сказал он. – И полотенце. И никому ничего не говори. Ни барыне, ни Корнею Ильичу, ни господину Мальцеву. Скажи, что я упал. Поскользнулся на глине у печки и упал. Поняла?

– Поняла, барин.

Она ушла, и он остался один среди разорённого кабинета, прижимая к груди двадцать три обгоревших листа, написанных рукой человека, который девяносто восемь лет назад спустился под землю и увидел лес. Кто-то в этом доме не хотел, чтобы он узнал условия. Кто-то знал, что книга уцелела, или догадался, когда увидел свет в окне кабинета. Кто-то пришёл и забрал половину.

Но не ту половину.

Он вспомнил, как вцепился в чужое запястье. Толстое сукно. Перчатка, тонкая, лайковая. И под тонкой лайкой, поперёк костяшек, – что-то жёсткое, неровное, вспухшее. Рубец. Как шов на старом переплёте.

Он видел такой рубец позавчера. Белый, через все костяшки, на широкой ладони, которая легла на зелёное сукно отцовского стола.

Он сидел на полу и думал об этом, пока не вернулась Матрёна. Доказать он ничего не мог. Рубец под перчаткой – не улика. Скажи он об этом вслух, Ласточкин только усмехнулся бы половиной рта. Но теперь Ефим знал, кому в этом доме нельзя поворачиваться спиной.

Матрёна промыла ему рану тёплой водой, приговаривая что-то себе под нос, перевязала голову чистой тряпицей и ушла, перекрестив его на пороге. Ефим запер дверь кабинета изнутри на ключ, придвинул к ней тяжёлое кресло и лёг на кожаный диван у стены, положив подшивки с листами себе под голову, как подушку. За окнами начинало сереть. Шёл второй день.

Глава 8. Инженер

Его разбудил стук в дверь – осторожный, вежливый, три раза.

Ефим сел на диване и сразу пожалел об этом: голова взорвалась болью, и кабинет поплыл, как палуба. Он переждал, держась за подлокотник. За окнами было уже совсем светло, насколько вообще бывало светло в Копотни, – мутный бурый полдень. Часы на камине показывали десять.

– Кто?

– Ремезов. Павел Андреевич. Простите, что беспокою. Матрёна сказала, вы здесь.

Ефим отодвинул кресло от двери и повернул ключ. Инженер стоял на пороге в той же потёртой куртке, с тетрадью под мышкой и с двумя стаканами чая в подстаканниках. Увидев повязку на голове Ефима, он чуть не уронил стаканы.

– Господи. Что с вами?

– Поскользнулся, – сказал Ефим. – На глине. У печки.

Ремезов посмотрел на открытую топку, на кучки глины на паркете, на пустые ряды промокательной бумаги на полу, на разбитую стеклянную крышку от витрины. Потом снова на повязку.

– Конечно, – сказал он. – Поскользнулись. Я принёс чай. С лимоном. Матрёна говорит, у вас вчера не было ужина.

Он поставил стаканы на письменный стол и сел на приставной стул, тот самый, на котором сидел Зонтов во время оглашения. Ефим сел в отцовское кресло – просто потому, что оно было ближе. Кресло было огромное, продавленное, и он утонул в нём, как в яме.

Чай был горячий и очень сладкий. Ефим выпил полстакана залпом и почувствовал, что голова понемногу проясняется.

– Павел Андреевич, – сказал он. – Можно вас спросить?

– Спрашивайте.

– Зачем вы на самом деле приехали в Копотень?

Инженер замер со стаканом у губ. Медленно поставил его на стол. Снял очки, протёр, снова надел. Ефим уже знал этот жест: Ремезов всегда протирал очки, когда ему нужно было подумать.

– Товарищество прислало меня оценить шахту, – сказал он. – Вы это знаете.

– Знаю. А на самом деле?

Ремезов вздохнул.

– На самом деле, – сказал он, – Илларион Петрович просил меня выяснить, сколько шахте осталось. До большой аварии. Он считает, что «Матушка» скоро обвалится, и хотел знать когда. Чтобы купить её прежде, чем это случится, но так, чтобы цена уже упала. Понимаете? Если шахта обвалится после покупки – товарищество потеряет деньги. Если до – вдова продаст за копейки, но и покупать будет нечего. Нужно было поймать момент. Когда все уже боятся, а обвала ещё нет.

– И вы его поймали?

– Я поймал другое. – Инженер раскрыл свою тетрадь и положил её на стол перед Ефимом. – Смотрите.

Страницы были исписаны мелким, аккуратным почерком. Цифры. Колонки. Даты. Схемы, нарисованные карандашом. Ефим не понимал в них ничего.

– Это замеры, – сказал Ремезов. – Я каждое утро спускаюсь на нижний горизонт и меряю положение пласта относительно реперов. Реперы – это метки, вбитые в крепь. Железные штыри. Если пласт сдвигается, расстояние между ним и реперами меняется. Обычно на сотые доли вершка за год. Обычно. – Он ткнул пальцем в колонку цифр. – А вот это – послед-

ние десять дней. Первый день, после смерти Захара Игнатьевича, – полвершка. Второй – ещё полвершка. Третий – вершок. Потом – полтора. Вчера – два. Пласт поднимается.

– Поднимается?

– Вверх. – Инженер перевернул страницу и показал схему. Это был разрез шахты, как его рисуют в учебниках: вертикальная черта ствола, горизонтальные линии горизонтов, первый, второй, третий, нижний. А под нижним – большое тёмное пятно, заштрихованное карандашом, похожее на лежащего зверя. – Вот Сердцевина. Глубинный пласт. Он лежит не горизонтально, как остальные, а вот так, видите, – чашей. Будто его кто-то согнул. Я никогда такого не видел. Ни в одном учебнике такого нет. А теперь эта чаша поднимается. Медленно. Как… – Он замялся, подбирая слово. – Как грудь, когда человек вдыхает. Только вдох этот длится уже десять дней. И не кончается.

– А когда кончится?

– Не знаю. – Ремезов закрыл тетрадь. – Если подъём продолжится с той же скоростью, нарастая так же, как сейчас, то через пять-шесть дней нижний горизонт будет раздавлен. Потом третий. Потом – вся шахта. А потом… – Он посмотрел в окно, на город внизу. – Город стоит на старых выработках. Весь. Прокоповы штольни, Игнатовы. Пустоты. Если пласт поднимется до них, город провалится. Целиком.

– Через пять-шесть дней, – повторил Ефим.

– Примерно. Я могу ошибаться.

– Через шесть дней кончается срок Лада.

Ремезов долго молчал.

– Я знаю, – сказал он наконец. – Я считал. Совпадает почти до часа. Седьмая ночь. Ефим Захарович, я инженер. Я учился в Горном институте пять лет. Я верю в механику, в химию, в геологию. Я не верю в деда под землёй, который просыпается, если ему не спеть песенку. Но мои цифры говорят, что на седьмую ночь под этим городом что-то проснётся. И я не знаю, что с этим делать.

– Вы сказали Мальцеву?

– Нет. – Инженер покраснел. – Я ему сказал, что шахта простоит ещё год. Соврал. Если бы я сказал правду, он бы уговорил вдову продать немедленно, хоть за полцены, и уехал бы с купчей, а город… Я не знаю, зачем я соврал. Наверное, потому что видел вчера, как вы стояли у Порога. И как старик плакал.

Ефим допил чай. Он смотрел на инженера – молодого, худого, со смешными очками и обветренными губами, который только что признался, что обманул своих нанимателей, – и думал, можно ли ему верить. «Не верь тому, кто скажет, что помнит». Ремезов не говорил, что помнит. Он говорил, что не знает. Это было другое.

– Павел Андреевич, – сказал Ефим. – Ночью я нашёл книгу. Ту, что отец сжёг. Она не сгорела до конца.

Глаза инженера за очками стали круглыми.

– И?

– Половину украли. Пока я спал. Ударили по голове и забрали.

– Кто?

– Не знаю, – сказал Ефим. Он почему-то не захотел говорить про рубец. Не сейчас. – Но вторая половина у меня. Двадцать три листа. Прокоповы. Я хочу, чтобы вы помогли мне их прочесть. Вы знаете горное дело. Там есть вещи, которых я не понимаю.

Ремезов смотрел на него не мигая.

– Вы мне доверяете?

– Нет, – честно сказал Ефим. – Но мне больше некому.

Инженер вдруг засмеялся – коротко, нервно.

– Это справедливо, – сказал он. – Это очень справедливо. Хорошо. Показывайте.

Но показать он не успел.

За окном, внизу, в городе, закричали. Сначала один голос, женский, потом другой, потом много голосов сразу. Ефим подошёл к окну. По улицам, к площади, бежали люди. Женщины с вёдрами, с коромыслами. Мужики. Дети. Все бежали к колодцу на площади – большому, общественному, с деревянным срубом и воротом. Вокруг колодца уже собралась толпа.

– Что там? – спросил Ремезов, подходя.

– Не знаю. Пойдёмте.

Ефим спрятал подшивки с листами под рабочую куртку, которую так и не снял со вчерашнего дня, запер кабинет и сунул ключ в карман. Голова болела, но на холоде стало легче.

На площади было не протолкнуться. Толпа гудела, как растревоженный улей. Ефим протиснулся к самому колодцу и увидел.

У сруба стояло ведро. Обычное деревянное ведро на верёвке, только что поднятое воротом. Вода в нём была чёрной.

Не мутной, не грязной – чёрной. Как чернила. Как дёготь. Блестящей, маслянистой, непрозрачной. И от неё шёл пар. Ведро дымилось на морозе, будто в нём был кипяток.

– Тёплая, – сказала баба, стоявшая рядом. Она сунула в ведро руку и тут же отдёрнула. Рука была чёрной до запястья. – Тёплая, как парное молоко. Господи помилуй. Господи помилуй.

– И на Кривой улице то же, – сказал кто-то в толпе. – И у бараков. Все колодцы. Утром ещё была вода как вода, а сейчас…

– Это он, – сказал старик с клюкой. – Дед. Пить хочет. Свою воду назад забирает.

– Молчи, дурак!

– Сам молчи! Не слышал ночью, как вздыхало?

Ремезов протолкался к ведру, присел на корточки и понюхал воду. Лицо его стало странным.

– Ефим Захарович, – позвал он. – Понюхайте.

Ефим наклонился. Вода пахла лесом. Не серой, не углём, не гнилью – лесом. Прелой листвой, влажной корой, грибами, мхом. Тем самым запахом, что шёл из ствола шахты. Тем самым, что был у Порога. Только сильнее. Гораздо сильнее. Будто он стоял не на площади шахтёрского города, посреди копоти и шлака, а в чаще, после дождя.

– Это не уголь, – тихо сказал инженер. – Уголь так не пахнет. Это… – Он зачерпнул воду в ладонь и поднёс к глазам. Вода стекла сквозь пальцы, оставив на коже чёрный налёт. Ремезов достал из кармана лупу – не такую, как у Ефима, а маленькую, складную, геологическую – и долго смотрел на свою ладонь. – Там что-то есть. Крошечное. Какие-то зёрна. Я не могу разглядеть. Мне нужен микроскоп. У меня есть, в гостинице. Я возьму пробу.

Он полез за пазуху за пробиркой.

В этот момент толпа расступилась. На площадь въехали сани, крытые, с гербом, и из них вышла Агния Фёдоровна, в шубе, в траурной вуали. За ней, по пятам, – Ласточкин и Мальцев.

– Что здесь происходит? – спросила вдова. Голос у неё был спокойный и ледяной.

Толпа замолчала. Кто-то показал на ведро.

Вдова подошла, посмотрела. Лицо её под вуалью не дрогнуло.

– Корней Ильич, – сказала она, не оборачиваясь. – Отправьте на Чадскую станцию за водой. Бочки. Десять подвод. Нет, двадцать. Пусть привезут из речки за станцией. Колодцы закрыть. Поставить сторожей. Никто не пьёт из колодцев до моего распоряжения. Я телеграфирую в Зареченск, в санитарную комиссию.

– Агния Фёдоровна, – сказал Ласточкин негромко. – Санитарная комиссия здесь не поможет.

– Поможет или нет, я решаю. – Вдова повернулась к толпе. – Расходитесь. Воду привезут к вечеру. Бесплатно. За счёт дома Чернояровых. Кто будет пить из колодцев – сам виноват.

Толпа загудела снова, но уже по-другому – растерянно, неуверенно. Люди начали расходиться. Вдова пошла обратно к саням и вдруг остановилась перед Ефимом.

– Вы, – сказала она. – Что у вас с головой?

– Поскользнулся.

– Неуклюжий. – Она смотрела на него сквозь вуаль. – Вы подумали о моём предложении?

– Ещё нет.

– Думайте быстрее. – Она кивнула на ведро. – Обстоятельства, как говорит Илларион Петрович, меняются. И цены тоже.

Мальцев, стоявший за её плечом, благодушно улыбнулся и развёл руками. Ласточкин молчал. Он стоял в двух шагах от Ефима, засунув руки в карманы пальто, и смотрел на чёрную воду. Ефим не сводил глаз с его карманов.

– Корней Ильич, – сказал он. – Вы перчатки потеряли?

Управляющий медленно повернул голову.

– Простите?

– Вы с похорон ходили в перчатках. Чёрных. А сегодня без них.

Ласточкин вынул руку из кармана. Голую, широкую, с обломанными ногтями. Белый рубец пересекал костяшки. Он поднёс руку к лицу, будто разглядывая её впервые.

– Порвал, – сказал он. – Вчера. Зацепился за гвоздь в конюшне. Ваша наблюдательность делает вам честь, Ефим Захарович. – Он сунул руку обратно в карман. – Берегите голову. Здесь на глине многие скользят.

Он пошёл к саням, не оглядываясь. Вдова села, Мальцев сел, сани тронулись. Ефим смотрел им вслед.

– Он? – шёпотом спросил Ремезов рядом.

– Не знаю, – сказал Ефим. – Может быть.

Колодец на площади закрыли деревянной крышкой и поставили возле него сторожа с ружьём – того самого краснолицего кучера, что вёз Ефима со станции. Ремезов набрал в пробирку чёрной воды, закупорил её и спрятал за пазуху.

– Пойдёмте ко мне, – сказал он. – В гостиницу. У меня там микроскоп и чистый стол. И там нет никого, кто носит чёрные перчатки.

Они не дошли до гостиницы. На углу Кривой улицы, у барака, их догнала Варя. Она бежала без шапки, в расстёгнутом полушубке, и лицо у неё было белое.

– Захарович! – крикнула она издали. – Ты! Иди сюда! Ты же умный, ты книги читаешь, иди!

– Что случилось?

– Мишка. – Она схватила его за рукав и потащила к бараку. – Мишка воды напился. Утром ещё. Из колодца, до того как все прибежали. Сказал, тёплая, вкусная, как квас. И уснул. Я его бужу – он не просыпается. Глаза открыты, а не просыпается.

В бараке было темно и душно. Вдоль стен тянулись нары, разгороженные занавесками из мешковины, и за каждой занавеской жила семья. Варя отдёрнула одну. На нарах, под лоскутным одеялом, лежал младший из её братьев – тот, что вчера держал её за руку на кладбище. Рядом сидел старший, Петька, и держал его за руку теперь.

Глаза у Мишки были открыты. Он смотрел в потолок, на закопчённые доски, и улыбался. Губы у него шевелились.

Ефим наклонился.

– …высоко-высоко, – шептал мальчик. – До неба. И листья как перья. Зелёные-зелёные. И тепло. Варька, тут тепло. И никто не кашляет. Тут никто никогда не кашляет…

– Мишенька. – Варя опустилась на колени у нар. – Мишенька, это я. Посмотри на меня.

Мальчик не посмотрел. Он улыбался потолку.

Ремезов пощупал ему пульс, потрогал лоб, заглянул в глаза.

– Жара нет, – сказал он растерянно. – Пульс ровный. Дыхание ровное. Он просто… спит. С открытыми глазами.

– Он видит лес, – сказал Ефим.

Варя подняла на него глаза. В них было что-то такое, что он отвёл взгляд.

– Ты можешь его разбудить?

– Не знаю. – Он не стал ей врать. – Но если Лад продлится, он проснётся. Я так думаю. Я сделаю всё, Варя.

Она ничего не ответила. Только отвернулась к брату и стала гладить его по голове – медленно, тихо, будто баюкала.

Они вышли на улицу. Ремезов молчал до самой почтовой конторы.

Гостиница помещалась над почтовой конторой – три комнаты для проезжающих чиновников, две из которых пустовали. Ремезов занимал угловую, тесную, заваленную книгами, картами, образцами породы в ящиках и бумагами. На подоконнике стоял микроскоп в медном корпусе. Инженер расчистил стол, поставил на него микроскоп, капнул на стёклышко чёрной воды и долго, молча смотрел в окуляр, подкручивая винты.

– Что там? – не выдержал Ефим.

Ремезов отодвинулся от микроскопа.

– Посмотрите сами.

Ефим наклонился к окуляру. Сначала он ничего не увидел – только черноту и какие-то светлые точки. Потом инженер подкрутил винт, и точки стали резкими.

Это были зёрна. Крошечные, круглые, коричневые, с узором на поверхности, похожим на сетку. Сотни зёрен. Тысячи. Вся капля была полна ими.

– Что это?

– Споры, – сказал Ремезов глухо. – Споры папоротника. Я видел такие в атласе. Только у нынешних папоротников споры другие. Мельче. И узор не такой. Такие споры находили только в угле. Окаменевшие. Мёртвые. Им миллионы лет. – Он снял очки и потёр переносицу. – А эти – не окаменевшие. Ефим Захарович, эти споры живые. Посмотрите, некоторые уже лопнули. Они прорастают. Прямо в капле. Прямо сейчас.

Ефим оторвался от микроскопа. В комнате было тихо. За окном, далеко, гудела шахта.

– Он видит лес, – сказал Ефим. – Так говорил Тихон. Так говорила старуха на сортировке. Он спит и видит лес. А если он просыпается…

– То лес просыпается вместе с ним, – закончил инженер. Он сидел, сгорбившись, глядя на пробирку с чёрной водой. – Я не могу это записать. Понимаете? Я не могу написать это в отчёте. Меня выгонят из товарищества и из Горного общества. Меня объявят сумасшедшим.

– Тогда не пишите, – сказал Ефим. Он вынул из-под куртки подшивки и положил на стол рядом с микроскопом. – Помогите мне прочесть вот это. Здесь, может быть, написано, как его усыпить.

Ремезов посмотрел на подшивки. Потом на Ефима. Потом снова на подшивки.

– Давайте, – сказал он. И впервые за всё время их знакомства улыбнулся – неуверенно, криво, но по-настоящему. – Давайте. Всё равно я сегодня уже ничего не понимаю.

Ефим развязал бечёвку на подшивках и стал раскладывать на чистом столе обгоревшие бурые листы, один за другим, по порядку, а инженер подвинул поближе лампу и сел рядом.

Глава 9. Первое условие

Они читали весь день.

Это оказалось труднее, чем Ефим думал ночью. Ночью он видел только буквы и радовался, что они есть. Днём, при свете, стало видно, сколько их нет. Огонь прошёл по листам неровно, языками: где-то съел только край, где-то – половину страницы, где-то оставил посередине дыру с бурыми обугленными краями, похожую на след от пальца, прожжённый в снегу. Чернила выцвели и побурели. Прокоп писал гусиным пером, нажимая неровно, и там, где нажим был слабым, буквы исчезли совсем.

Ремезов принёс из соседней пустой комнаты второй стол, придвинул его к первому и застелил оба чистой бумагой. Ефим разложил листы в том порядке, в каком снимал их с блока, – он запомнил порядок, руки запомнили, – и они стали читать по очереди: Ефим вслух, инженер записывал в тетрадь, оставляя пустые места там, где слов не было.

– Это похоже на археологию, – сказал Ремезов в середине дня, разминая затёкшую шею. – Я однажды был на раскопках под Керчью. Студентом. Мы три недели снимали землю кисточками с какого-то черепка, а потом профессор сказал, что это горшок для каши и ничего интересного. Надеюсь, у нас не горшок для каши.

– У нас – прадед, – сказал Ефим.

– Простите.

– Нет, ничего. – Ефим поднёс лупу к очередному листу. – Он смешно пишет. Смотрите. «Сего дня спустился с Тимошкой и Еремеем. Тимошка трусил и пел. Еремей не трусил и не пел, а только ругался. Он, Дед, сказал мне потом, что Еремеева ругань ему не мешает, а Тимошкина песня – нравится».

Инженер засмеялся.

– Он записывал разговоры с ним? С Дедом?

– Похоже, да. Как дневник.

Это и был дневник. Первые страницы, те, что сгорели совсем, были, видно, о том, как Прокоп пришёл в эти горы, – осталось только одно слово «пришёл» и обрывок фразы «… тогда здесь не было ни души, только лес…». Потом – о первом спуске, о трёх днях сна на камне, о лесе, который показал ему Подспуд. Это Ефим уже читал ночью. А дальше шли записи, сделанные позже, год за годом, и почерк в них менялся – становился твёрже, увереннее, потом, к последним листам, снова начинал дрожать. Старческий.

Ремезов разбирал горные термины, которых Ефим не знал.

– «Пошли по пласту восточной стороной, где он выходит под углом, и брали с почвы», – читал Ефим.

– Почва – это низ пласта, – пояснял инженер. – Нижняя граница. Кровля – верхняя. Он описывает, как начинали проходку. Очень грамотно, кстати. Для человека, который, по-видимому, нигде не учился, – поразительно грамотно. Будто ему кто-то подсказывал, где копать.

– Может, и подсказывал.

Ремезов не ответил.

К четырём часам у них было переписано начисто девятнадцать листов из двадцати трёх. В тетради инженера выросла странная, рваная летопись – с дырами, с многоточиями, с вопросительными знаками на полях. Ефим видел в ней человека. Упрямого, суеверного, жадного до работы и до жизни, который однажды спустился под землю один и вернулся оттуда с договором. Который назвал шахту «Матушкой». Который поставил у первого спуска чёрный камень и велел всем называть себя. Который любил, когда горняки поют.

Но условий не было. На тех листах, где Прокоп начинал говорить о Ладе, огонь словно нарочно прошёлся сильнее. «…три условия, и пока держатель их помнит…» – и черно. «…а

второе, чтобы…» – и дыра. Ефим смотрел на эти дыры, и ему казалось, что кто-то выжег их прицельно, как выжигают глаза на портрете.

На девятнадцатом листе уцелела только середина, и в ней – несколько строк, которые Ефим прочёл дважды.

«…и в осень, как лист облетает, все вышли к стволу с огнями и пели ему, и пели семь ночей. А он слушал, и в шахте было тихо, ни одна стойка не скрипнула. Марфа Голубева пела выше всех, и он сказал мне потом во сне, что её голос ему как солнце сквозь листья…»

– Голубева, – сказал Ефим.

– Что?

– Ничего. Фамилия знакомая. – Он отложил лист, но фамилию запомнил. Марфа Голубева, девяносто лет назад. Ульяна Голубева сейчас. Будто голос передавался в этом роду, как передаётся по наследству дом.

– Двадцатый, – сказал он и взял следующий лист.

Этот лист был другим. Он сохранился почти целиком – только верхний правый угол отгорел. И исписан он был не одним почерком, а двумя.

В середине листа, крупно, Прокоповой рукой, стояла запись – короткая, отделённая от остального чертой сверху и снизу, будто рамкой. А по полям, вокруг неё, сверху, снизу, сбоку, мелко-мелко, налезая на Прокоповы буквы, тянулись строчки, написанные совсем другим почерком. Тяжёлым. С сильным нажимом. Знакомым.

Ефим узнал его сразу. Этот почерк был на конверте. «Сыну. Вскрыть у Порога».

– Это отец, – сказал он. – Он писал на полях.

– Читайте сначала Прокопа, – сказал Ремезов тихо.

Ефим поднёс лупу к середине листа. Буквы были бурые, но ясные, крупные, выведенные тщательно, как выводят молитву.

«Первое. Бери по жиле, а Сердца моего не тронь. В Сердце я сплю. Тронешь – проснусь».

Он прочёл это вслух, и голос у него дрогнул на последнем слове.

Ремезов сидел неподвижно. Карандаш у него в руке застыл над тетрадью.

– Ещё раз, – сказал он.

– «Первое. Бери по жиле, а Сердца моего не тронь. В Сердце я сплю. Тронешь – проснусь».

Инженер записал. Медленно, буква за буквой. Потом положил карандаш и снял очки.

– Сердце, – сказал он. – Сердцевина. Глубинный пласт.

– Да.

– Тот самый, что даёт весь доход шахты последние тридцать лет. Тот самый, где аварийность втрое выше нормы. Тот самый, что поднимается. – Ремезов закрыл лицо руками. – Господи. Это же… если это правда… Его разрабатывают тридцать лет. Каждый день. Три смены. Режут, рубят, взрывают. Это же…

– Это всё равно что резать спящего, – сказал Ефим.

Инженер отнял руки от лица.

– Читайте поля, – сказал он.

Ефим повернул лист и поднёс лупу к левому полю. Отцовский почерк был мелкий, торопливый, строчки налезали друг на друга. Чернила – другие, чёрные, не выцветшие.

«Отец мне говорил: не тронь. А сам ни разу туда не спускался. Боялся. Дед его был умнее, а он только счёт вёл. Я не боюсь».

Ниже, другими чернилами, видно, позже:

«Вскрыл. Пласт два сажени чистого угля. Такого нигде нет. Через год шахта даст втрое. Через пять – вдесятеро».

Ещё ниже, на нижнем поле:

«Он проснулся. Не совсем. Повернулся. Обвал в восточном штреке. Четверо. Я спускался к Престолу. Он сказал: ты нарушил. Я сказал: я заплачу. Он не понял. Я объяснил. Он понял».

И сбоку, вертикально, вдоль правого края, столбиком – кресты. Маленькие, чёрные, аккуратные. Один под другим. Ряд за рядом. Они уходили вниз, к самому краю листа, перебирались на нижнее поле, на обратную сторону. Рядом с некоторыми стояли цифры – годы. Рядом с другими не стояло ничего.

А над первым крестом, мелко, было написано одно слово: «Уплачено».

Ефим смотрел на кресты. Он не мог оторвать от них глаз.

– Посчитайте, – сказал Ремезов глухо.

– Что?

– Посчитайте их. Я не могу. У меня руки трясутся.

Ефим стал считать. Вслух, водя пальцем по полю, не касаясь бумаги. Десять. Двадцать. Он перевернул лист. Сорок. Шестьдесят. Цифры рядом с крестами – годы, – шли по порядку, от года, когда была вскрыта Сердцевина, до прошлого. Иногда по одному кресту в год. Иногда по три, по пять. Восемьдесят. Сто. Один год, лет двенадцать назад, – одиннадцать крестов подряд.

– Сто двенадцать, – сказал он и опустил лупу.

В комнате было очень тихо. Где-то внизу, в почтовой конторе, стучал телеграфный аппарат, и этот стук казался оглушительным.

– Сто двенадцать, – повторил Ремезов. – Вдова говорила… вы помните, что она говорила? Он стоял перед зеркалом и считал до ста двенадцати.

– Помню.

– Это люди. – Инженер встал и подошёл к окну. Он стоял спиной к Ефиму, и плечи у него были напряжены. – Это люди, Ефим Захарович. Сто двенадцать человек, которые погибли в Сердцевине за тридцать один год. И он их… он их…

– Платил ими, – сказал Ефим.

Слово упало в тишину, как камень в колодец. Он сам не верил, что сказал его. Но оно было правильным. «Я сказал: я заплачу. Он не понял. Я объяснил. Он понял».

Он смотрел на отцовский почерк. Тяжёлый, с сильным нажимом. Человек, который девятнадцать лет держал его подальше, «чтобы он о тебе не знал». Человек, который построил больницу, школу и баню. Который знал по именам всех десятников. Который стоял на коленях перед женой и плакал, когда ударил её. Который сто двенадцать раз поставил крестик на полях книги своего деда.

– Он сломал первое условие, – сказал Ефим, и голос его был чужим, ровным. – Он вскрыл Сердце. Дед повернулся. И отец стал его усыплять обратно. Людьми. Каждый раз, когда Дед начинал просыпаться, кто-то погибал в Сердцевине. И Дед засыпал снова. На время.

– Это не может быть правдой, – сказал Ремезов, не оборачиваясь. – Это… это средневековье. Это человеческие жертвы. Здесь. Сейчас. В наше время. С телеграфом. С железной дорогой.

– Телеграф стучит прямо под нами, – сказал Ефим. – А под телеграфом – шахта. А под шахтой – Сердце.

Инженер повернулся. Лицо у него было серое.

– Варя Кремнёва, – сказал он. – Её отец. Он погиб в Сердцевине. Три года назад.

Ефим снова поднёс лупу к полю. Нашёл строчку с годом – три года назад. Рядом с ней стоял один крест. И рядом с крестом, совсем мелко, почти неразличимо, было написано: «С. К.».

Степан Кремнёв.

Он долго смотрел на эти две буквы. Потом аккуратно, двумя пальцами, отложил лист в сторону, на чистую бумагу, и придавил его краешек стеклом.

– Я обещал ей, – сказал он. – Обещал, что если найду – скажу.

– Вы скажете?

– Скажу. – Ефим поднял глаза на инженера. – Я обещал.

Ремезов вернулся к столу и сел. Долго смотрел в свою тетрадь, где только что записал первое условие. Потом взял карандаш и под первым условием написал крупно, печатными буквами: «Нарушено».

– Значит, так, – сказал он, и голос у него стал деловым, инженерским, будто он спрятался за этот голос, как прячутся за стену. – Первое условие мы знаем. «Бери по жиле, Сердца не тронь». Оно нарушено тридцать один год назад и нарушается до сих пор. Каждый день. Даже сейчас, пока мы тут сидим, в Сердцевине работает смена. Я видел вчера наряды. Сердцевина работает в три смены, как и всё остальное.

– Значит, её нужно остановить.

– Её нельзя остановить. – Ремезов покачал головой. – Вы не понимаете. Без Сердцевины шахта не окупится. Верхние горизонты выработаны. Три тысячи человек останутся без работы. Это голод. Это…

– Это сто тринадцатый крест, – сказал Ефим. – И сто четырнадцатый. И пока Сердце режут, он не уснёт. Вы же сами видели: он поднимается. Каждый день быстрее.

Инженер молчал.

– Вы можете провести меня туда? – спросил Ефим. – В Сердцевину? Сегодня?

– Вы хозяин, – сказал Ремезов. – Вас туда может провести кто угодно. Но Ласточкин узнает через пять минут. Он там всем заправляет. Там его люди. Особая смена. Её зовут чёрной. Туда даже десятники не ходят.

– Почему чёрной?

– Потому что там работают те, кто больше нигде не может. Беглые. Каторжные. Бродяги без паспортов. Им платят втрое, ни о чём не спрашивают, и они ни о чём не спрашивают. – Инженер вдруг осёкся. Посмотрел на лист с крестами. – Без паспортов. Без имён, понимаете? Если такой погибнет – никто его не хватится. Ни семьи, ни бумаг.

Ефим медленно перевёл взгляд на лист с Прокоповым дневником, который читал ночью. «…и ни один не останется без имени, если останется…»

– Безымянные, – сказал он. – Он брал в Сердцевину безымянных. Чтобы платить ими.

– Господи, – прошептал инженер.

Ефим встал. Голова снова закружилась, и он схватился за край стола. Ремезов вскочил, поддержал его под локоть.

– Вам нужно лечь. У вас сотрясение, наверное. Вы весь белый.

– Я лягу потом. – Ефим выпрямился. – Павел Андреевич. Перепишите всё, что мы прочли. Начисто. В двух экземплярах. Один оставьте себе, спрячьте. Другой отдайте Зонтову. Листы – самые листы – я заберу. Если со мной что-то случится, пусть хоть это останется.

– Что вы собираетесь делать?

– Спуститься в Сердцевину. – Ефим взял со стула свою рабочую куртку. – Сегодня. Ночью. Когда работает чёрная смена.

– Без Ласточкина?

– Без Ласточкина. – Он посмотрел на инженера. – Вы пойдёте со мной?

Ремезов долго молчал. Потом взял со стола очки, протёр их краем рубахи и надел.

– Я должен измерить, – сказал он, – как поднимается пласт в самой Сердцевине. Изнутри. Мне эти замеры нужны для расчётов. – Он помолчал. – Это единственная причина, понимаете? Чисто научная.

– Понимаю, – сказал Ефим.

– Хорошо. Полночь. У ламповой. Я договорюсь со стволовым. Он мне должен.

Ефим аккуратно, лист за листом, сложил Прокопов дневник обратно между промокательными листами и подшивками, перевязал бечёвкой и спрятал под куртку, к самому телу,

рядом с отцовским письмом. Лист с крестами он положил отдельно, сверху, чтобы чувствовать его, как чувствуют занозу.

Когда он выходил, инженер уже сидел над тетрадью и переписывал, и рука у него дрожала, и он то и дело останавливался, чтобы снять очки и протереть их, хотя они были чистые.

На лестнице Ефим остановился. Внизу, в почтовой конторе, стучал телеграф. А под телеграфом, под конторой, под улицей, под городом – далеко-далеко внизу – кто-то медленно, тяжело вдыхал. Вдох, который длился уже двенадцатый день и всё не кончался.

К бараку на Кривой он пришёл уже в сумерках. Варя сидела на нарах рядом с Мишкой, как он её оставил утром, и, кажется, не вставала весь день. Старший, Петька, спал, свернувшись у неё в ногах. Мишка всё так же смотрел в потолок и улыбался.

– Ну? – сказала Варя, не поднимая головы.

– Я нашёл, – сказал Ефим. – Про твоего отца.

Она медленно подняла на него глаза.

Он не стал ничего смягчать. Он сел на край нар и рассказал ей всё – про первое условие, про Сердце, которое нельзя трогать, про отцовские пометки на полях, про столбик крестов. Про то, что слово «уплачено» стояло над первым крестом. Про две буквы рядом с крестом три года назад. Она слушала молча, не перебивая, и лицо у неё становилось всё неподвижнее, всё твёрже, как остывающий металл.

– «С. К.», – повторила она, когда он замолчал.

– Да.

– Он его записал. – Голос у неё был странно спокойный. – Записал, как в лавке записывают. Мешок муки, фунт соли, Степан Кремнёв. Уплачено.

– Варя…

– Не надо. – Она подняла руку. – Не говори ничего. Ты сказал, как обещал. Это хорошо. Это первый Чернояров, который сказал правду.

Она долго молчала, глядя на брата. Потом спросила:

– Он не один там был? Отец? В тот год?

– Один крест. В тот год – один.

– Значит, один, – сказала она. – Один. А все говорили, что обвал и что ещё двоих завалило. Брехня. Никого больше не было. Только он.

Она наклонилась и поцеловала Мишку в лоб. Потом встала, оправила полушубок и надела шапку.

– Ты куда? – спросил Ефим.

– С тобой, – сказала Варя. – Ты ведь туда пойдёшь. В Сердцевину. Я по глазам вижу. Ты сейчас такой же, как он был, когда в ту ночь из дома уходил. Отец. Будто уже решил, и спорить без толку.

– Тебе нельзя. Ты не горняк.

– Я выборщица. Я с двенадцати лет при шахте. Я в клети ездила больше, чем ты по своему Зареченску ходил. – Она посмотрела на него сверху вниз. – Я хочу увидеть, где он лежит. Хоть раз. Не мешай мне, Захарович. Ты мне это должен.

Ефим смотрел на неё и понимал, что она права. Он ей это должен. Он, его фамилия, его отец, его кровь.

– Полночь, – сказал он. – У ламповой.

– Буду, – сказала Варя.

Глава 10. Чёрная смена

В полночь у ламповой было пусто и темно. Только в окошке над стойкой тлел огонёк, и за ним дремала не толстая Феклуша, а другая баба, худая, в мужском картузе. Когда Ефим постучал в окошко, она вздрогнула, протёрла глаза и долго смотрела на него.

– Номер один, – сказал он.

Она молча сняла с полки лампу с выбитой единицей и поставила перед ним. Потом поставила ещё две – для Ремезова и для Вари, которые стояли у него за спиной.

– Записывать? – спросила баба.

– Записывай.

– Куда идёте?

– Вниз, – сказал Ефим.

Баба посмотрела на Варю, на инженера, снова на него. Обмакнула перо в чернильницу. Подумала. И написала в книге – Ефим видел через окошко – «Хозяин. Вниз. Полночь». И больше ничего.

Стволовой Фома ждал их у клети. Это был сутулый мужик с лицом, изрытым оспой, и с руками, на которых не хватало трёх пальцев – двух на левой, одного на правой. Он сунул Ремезову в ладонь какую-то бумажку, тот сунул ему в ответ монету, и Фома, не говоря ни слова, отодвинул решётку клети.

– До нижнего, – сказал инженер.

– До нижнего – без остановок, – прохрипел Фома. – Тридцать минут. Держитесь.

Клеть пошла вниз.

Это был совсем другой спуск, не такой, как вчера к Порогу. Вчера они ехали восемьдесят саженей. Сегодня – пятьсот сорок. Клеть шла быстро, гораздо быстрее, чем Ефим мог себе представить, и через несколько минут у него заложило уши так, что он перестал слышать даже ветер в решётке. Брёвна крепи сменились голым камнем, мокрым, блестящим. Потом опять брёвнами, старыми, почерневшими. Они проехали первый горизонт – мелькнул свет, помост, лошадь у рельсов, – потом второй, потом третий. Варя стояла, прижавшись к решётке, и Ефим видел, как шевелятся её губы. Он прислушался и разобрал: она считала горизонты.

Жара начиналась постепенно. Сначала стало просто тепло, потом душно. Потом по лицу потёк пот. Ремезов расстегнул куртку и посмотрел на термометр при свете лампы.

– Двадцать два, – сказал он одними губами, Ефим прочёл по движению. – На такой глубине – девятнадцать по таблицам. Было девятнадцать. Месяц назад.

Клеть замедлилась и встала.

Нижний горизонт был не похож на первый. Здесь не было широкого коридора с рельсами и лошадьми. Был узкий проход, укреплённый стойками, такими толстыми, что их не обхватить, – и все стойки были перекошены, будто кто-то давил на них сверху огромной ладонью. Некоторые лопнули вдоль, и в трещинах белела свежая древесина. С потолка капало. Пол под ногами был мокрый и тёплый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.